Вторая партия

Свадебный марш в миноре

Детективный роман



Елена Копс

Вторая партия

Елена Копс

Вторая партия. Свадебный марш в миноре

«Автор»
2026

Копс Е.

Вторая партия. Свадебный марш в миноре / Е. Копс — «Автор», 2026 — (Вторая партия)

Сентябрьский круиз по Волге на белом теплоходе «Герда» обещал стать праздником жизни и музыки. Спустя год после трагедии, распавшийся оркестр снова собирается на борту, чтобы сыграть в Плёсе концерт памяти дирижёра и отпраздновать четвёртую свадьбу Тамары.Но за фасадом веселья и блеском восьмиэтажного свадебного пирога скрывается слишком много фальшивых нот. Идеальный жених путается в фактах о собственном детстве и ведёт тайные ночные переговоры. В старом рояле обнаруживается потайная ниша, а в Угличе на борт поднимается антиквар с опечатанным футляром — якобы пропавшей скрипкой Гваданини.Когда старые тайны оборачиваются смертельной опасностью, альтистке Варваре Мироновой, капитану Николаю Рябинину и проницательной Эмилии Карловне предстоит вслушаться в каждую деталь, чтобы вычислить преступника, пока «Герда» не причалила к берегу.

© Копс Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 18
Глава 3 38
Глава 4 57
Конец ознакомительного фрагмента. 59

Елена Копс
Вторая партия. Свадебный марш в миноре

Глава 1

Старый синий грузовик Кости завёлся в пять сорок утра с третьего раза, и всю дорогу до Серпухова он ехал так, будто вёз не людей и чемоданы, а что-то хрупкое и очень ценное. Костя вёл вполоборота к лобовому стеклу, подавшись вперёд и вцепившись в руль обеими руками на десять и два, как их учили держать в техникуме на втором курсе, и ни разу за сорок километров не обогнал ни одной машины, даже трактора с прицепом, который тащился перед ними минут пятнадцать и нещадно чадил.

В кабине сидели трое, потому что Эмилия Карловна сказала накануне вечером, что в кузове ехать не станет, поскольку в её возрасте воздух надо вдыхать, а не ловить ртом. Она заняла середину, прямая, в серой кофте до колен и в шляпке, которую надевала раз в год, на Рождество, с коротким пером, торчавшим сбоку, как антенна. На коленях у неё лежала такса Бемоль, свернувшийся так плотно, что из-под кофты торчал только кончик носа. Варвара прижалась к дверце. Альт стоял у неё между ног, чемодан и два свёртка Зинаиды Петровны, с огурцами и с чем-то, что гремело, ехали в кузове, и ей оставалось смотреть в окно на бледный сентябрьский рассвет, на мокрые поля, на туман в низинах, который лежал пластами и не торопился подниматься.

– Ты считаешь столбы, – сказала Эмилия Карловна, не поворачивая головы.

– Нет.

– Считаешь. У тебя губы шевелятся.

– Я пою про себя.

– Что?

– Не знаю. Что-то из Бородина.

Тётя помолчала. Правая рука её лежала поверх Бемоля, и дрожала так, как дрожала с весны, тонко и часто, не пытаясь спрятаться. За лето они доиграли Ноктюрн до последнего такта, все три раза подряд, в июне, в июле и ещё раз в августе, когда приехала Даша и сидела на веранде в старом кресле с плетёной спинкой, слушала с закрытыми глазами и потом сказала только: «Левая у вас лучше правой, Эмилия Карловна». Тётя ответила, что у неё так всегда было, просто раньше этого никто не замечал, потому что играла она обеими.

– Ты волнуешься, – сказала она.

– Немного.

– Из-за чего?

– Из-за того, что год прошёл. – Варвара смотрела на трактор, который наконец свернул на просёлок и оставил после себя синее облако. – Я помню, как подходила к этому вокзалу в прошлом сентябре. Опаздывала, с альтом, с пирожками, злилась на всех. А тут вдруг приезжаю, и всё то же самое, и я сама та же, только знаю, чем это кончится.

– Ты не знаешь, – сказала Эмилия Карловна. – Ты помнишь. Это разные вещи. Знать можно только то, что ещё не случилось, и поэтому знающие люди всегда немного глупее помнящих.

– Это что-то из Ницше?

– Это из жизни. Ницше я не любила, у него была плохая привычка писать громко.

Костя, сидевший за рулём с таким лицом, будто в кабине шёл важный разговор, к которому ему нельзя прислушиваться, вдруг сказал в стекло:

– Зинаида Петровна с пяти на ногах. Говорит, что пирог не получится, если не стоять над ним лично. Пирог восьмиэтажный, одного бисквита два противня, и крем.

– Каких размеров? – спросила Эмилия Карловна.

– Как тумба. Мы вчера мерили. В обычный холодильник не влез, пришлось в кладовой на льду держать. – Значит, в дверь кают-компании еле пройдёт. – Ничего, она сказала, что на тележке боком провезут, косяки сняли

– Рациональная женщина, – сказала Эмилия Карловна, и в голосе её прозвучало что-то вроде уважения.

В Москву въехали в девятом часу, и город показался Варваре таким, каким она его не видела с весны: шумным, серым, пахнущим выхлопом, горячим асфальтом и чем-то сладким из пекарни на углу. Костя выбрал дорогу, как выбирают её люди, учившиеся по карте, а не по навигатору, то есть самую длинную и по знакомым улицам, и они ехали через Ленинградский проспект под мостами, мимо стеклянных башен, на которых отражалось утреннее небо, и Эмилия Карловна, глядя на всё это, сказала вдруг «боже, как они все торопятся», и тут же замолчала, словно сказала что-то лишнее.

Северный речной вокзал стоял там, где и год назад, на берегу Химкинского водохранилища, с высокой башней и тонким шпилем, увенчанным звездой, и с белой колоннадой, обращённой к воде. В сентябре его окружала желтизна: липы вдоль аллеи начали облетать, и листья лежали на плитке мелкими мокрыми пятаками. Над водой, над стоящими у причалов судами тянулся лёгкий пар. Грузовик въехал на площадь, чихнул и остановился около газона, на котором ещё доцветали астры, лиловые и белые, и Костя заглушил двигатель с таким облегчением, с каким спрыгивают с горы на санках.

– Приехали, – сказал он. – Докладываю: за дорогу превышений нет.

– Благодарю, – сказала Эмилия Карловна и, придерживая шляпку, стала слезать, подавая Бемоля Варваре в руки, как подают ребёнка.

Он не хотел вниз. Он смотрел на мир с высоты Варвариного локтя, мелко дрожа от возбуждения, и когда его поставили на землю, сделал три шага и сел, обнюхивая воздух. Воздух пах рекой, нагретым железом и, что было неожиданным, жареным луком.

– Зинаида Петровна, – сказала Эмилия Карловна. – Я чувствую даже здесь.

Они пошли по аллее, и Варвара, с альтом через плечо и пустой рукой, которую не знала, куда деть, остановилась у самого края набережной. Внизу, у ближайшего причала, под высоким каменным парапетом, стояла «Герда».

Она выглядела немного иначе, чем в прошлом сентябре. Белый корпус с красной полосой по борту, свежеокрашенный, с чуть заметными потёками у ватерлинии, там, где Костя, видимо, торопился. Латунные иллюминаторы, начищенные до блеска, горели на солнце, как ряд маленьких жёлтых лун. Дубовые поручни потемнели от лака. На носу, под тентом, раскачивалась на ветру гирлянда из бумажных цветов, белых и розовых, и от этого теплоход казался слегка смущённым, как человек, которого застали в праздничной одежде раньше срока. Над рубкой, на тонкой мачте, вился флаг, а по палубе, в такт каким-то своим заботам, двигались фигуры в тельняшках, нагруженные корзинами и ящиками.

Она постояла. Ей казалось, что она ждала этого мгновения всю весну и всё лето, и теперь, когда оно наступило, внутри ничего не поднималось: ни волнения, ни восторга, одно ровное, тёплое узнавание, какое бывает, когда входишь в комнату, где давно не была, и видишь, что стул стоит на том же месте.

– Варя, – сказала Эмилия Карловна. – Не стой на ветру. У тебя шея.

– Иду.

Они спустились по широкой лестнице к причалу, и Бемоль, натянув поводок, потащил их вперёд так, что тётя почти бежала, придерживая шляпку и ворча на него вполголоса по-немецки. На трапе, у самой кромки, стоял человек в тёмно-синем кителе с золотыми нашив-

ками на рукавах, и в первую секунду Варвара не поняла, что узнаёт его. Китель сидел на нём так, как сидит одежда, которую надевают нечасто и всегда с некоторым недоверием. Фуражка с белым верхом была надвинута чуть ниже, чем нужно. И рядом, у самого его ботинка, сидел огромный серый кот со сломанным левым ухом, на шее у которого красовался красный шёлковый бант, завязанный очень туго.

Боцман смотрел на неё жёлтыми, немигающими глазами. Потом медленно, с таким достоинством, на какое только способен кот в банте, поднялся, потянулся, выгнул спину и пошёл навстречу. Он остановился в шаге, обошёл её кругом, ткнулся лбом в колено, и бант на нём перекосился на сторону.

– Он терпит, – сказал Николай Андреевич. – Третий час. Зинаида Петровна говорит, что без банта к посадке выходить нельзя.

– Он выглядит оскорблённым.

– Он выглядит правильно. Это его нормальное лицо.

Он стоял на трапе, не двигаясь, чуть сутулясь, не зная, куда деть руки . Серые глаза, спокойные, ясные, смотрели на неё так, как смотрели весной в Петербурге, на Стрелке, и в них не было ни улыбки, ни вопроса, только то, что она за этот год научилась читать без слов. Он выглядел помолодевшим. Загорелая шея, выгоревшие на висках волосы, тонкие морщинки у глаз, которых прошлой осенью не было, и которые она знала: от солнца, от реки, от долгих часов за штурвалом, когда смотришь вперёд и не моргаешь.

Они не сказали друг другу ничего. Она поднялась на трап, и он отступил на шаг, пропуская её, и она вдруг заметила, что у него дрожит рука, державшая фуражку: чуть-чуть, как у тётки. Он сам заметил это и положил фуражку на перила.

– Тарелка, – сказал он наконец.

– Что?

– Зинаида Петровна передала. Велела, чтобы первым делом с тарелкой. Иначе говорит, что встреча не считается.

На краю причала, под навесом, где раньше стоял ящик с канатами, теперь стоял складной столик, накрытый белой салфеткой, и на нём, на фарфоровой тарелке с розочками, лежали пирожки. Румяные, блестящие, с трещинкой наверху, ещё тёплые, их запах, смешанный с запахом реки и разогретого железа, ударил в нос так, что у Варвары на секунду перехватило горло. Она узнала посуду. Ту самую тарелку, из которой Эмилия Карловна ела по воскресеньям свой единственный пирог.

– Это моя, – сказала тётя, подходя.

– Зинаида Петровна просила одолжить, – сказал Николай Андреевич. – В июле. Сказала, что для важного случая.

– Я помню. Я разрешила.

Они взяли по пирожку. Варвара откусила и закрыла глаза. С налимом. Тесто тонкое, с хрустящей корочкой, начинка сочная, с луком и перцем, и всё это тёплое, настоящее, никак не относившееся к тому, что происходило вокруг: к белому пароходу, к бумажным цветам, к людям с корзинами. Она ела и чувствовала на себе его взгляд, но не открывала глаз, пока не доела.

– Теперь считается, – сказал он.

– Да.

Эмилия Карловна, к которой присоединился Бемоль, получила свой пирожок из рук Кости, подошедшего с торопливым видом и красными ушами, и обследовала его так, как обследуют незнакомый документ. Откусила, прожевала и повернулась к Николаю Андреевичу.

– Я не принимаю решений насчёт чужих пирогов, – сказала она. – Но этот выпечен на дрожжах хорошего качества. Передайте.

– Передам.

– Теперь покажите, где у вас в каюте окно. Бемоль должен знать маршрут.

– Каюта номер двенадцать, – сказал Николай Андреевич. – Окно на правый борт. Костя проводит.

– Я сама, – сказала Эмилия Карловна и пошла по трапу, не касаясь поручня, с Бемолем под мышкой и шляпкой, которую она, видимо, считала частью брони.

Они остались вдвоём. Вернее, втроём, потому что Боцман сел между ними, и бант его, окончательно сдавшись, съехал на ухо, придавая коту вид лихого флибустьера.

– Давно ты здесь? – спросила Варвара.

– С шести. Зинаида Петровна вызвала в пять. У неё пирог, а у меня борт. – Он потёр подбородок. – Начинал красить в июне, а закончил только вчера. Костя, как ты видишь, вложился.

– Потёки у ватерлинии.

– Заметила.

– Я всё замечаю. Ты же знаешь.

– Знаю. – Он слабо усмехнулся. – Потому и не стал переделывать.

Камбуз «Герды» находился на нижней палубе, в корме, и издали его можно было найти по запаху, который шёл через открытую дверь и тянулся по коридору, как ленточка: ваниль, горячее масло, жжёный сахар и ещё что-то тёплое, домашнее, чему у Варвары не было названия. Она спустилась по узкому трапу с альтом на плече, зацепилась футляром за скобу и услышала голос, который узнала бы в любой толпе и в любом состоянии.

– Не ставь на пол! На пол! Ты что, не видишь, что я кремом занимаюсь? Костя, подай мне вон ту миску, да не эту, большую, жёлтую, где лимонная цедра!

Зинаида Петровна стояла посреди камбуза, в белом халате и синем платке, повязанном по-деревенски, узлом на затылке, и перед ней на стальном столе возвышалось нечто, что Варвара поначалу приняла за архитектурный макет. Пирог. Он стоял на восьми этажах, один на другом, каждый чуть меньше предыдущего, обмазанный белым кремом и подпёртый изнутри деревянными шпажками, и каждый этаж был украшен особой линией цветов из сахарной массы, лиловых, голубых, розовых. На самом верху, в позе, которая вызывала в памяти памятник, стояли две крохотные фигурки: жених в чёрном и невеста с воздушной вуалью. Возле них, на бисквитном карнизе, кто-то аккуратно вывел розовым кремом имя «Тамара», но второе имя ещё не было дописано, и стояла только заглавная «В» и точка.

– Зинаида Петровна, – сказала Варвара.

Та обернулась. У неё в руке была лопатка, с которой капал крем, на щеке белел мазок муки, и когда она увидела Варвару, лицо её, широкое, красное от жара плиты, на секунду застыло, потом расползлось в улыбку, которая начиналась где-то в районе подбородка.

– Варенька, – сказала она. – Ну наконец-то. Три минуты как не опоздала.

– Я приехала в одиннадцать.

– Вот и я говорю: приехала. – Она отложила лопатку, вытерла руки о фартук и подошла, раскинув их, и Варвара, чувствуя, как к футляру прижимается мягкая, тёплая, пахнущая ванилью и луком грудь, на секунду закрыла глаза. Зинаида Петровна обнимала так, как делала всё остальное: полностью, без остатка, с упором. – Худая какая. Тебя там не кормят?

– Меня кормят.

– Не верю. Эмилия Карловна написала, что ты за лето набрала килограмм, а я вот смотрю, и килограмма нет. Ничего, у меня тут восемь дней, наверстаем. Садись, чаю налью. Нет, подожди, сначала посмотри на это.

Она отстранилась и показала на пирог рукой, как показывают гостю достопримечательность.

– Вот.

– Это красиво, – сказала Варвара, и это была правда, хотя красота здесь была того рода, какую понимаешь с некоторым страхом.

– Двенадцать часов вчера. Восемь бисквитов, пропитка на вишнёвой настойке, крем сливочный, не масляный, масляный я не уважаю. Тамара хотела шестой этаж, а я говорю: Тамара, ты замуж в четвёртый раз идёшь, надо с запасом, восьмой. – Она вздохнула и посмотрела на верхние фигурки с выражением, в котором смешались гордость и сомнение. – А жених, он у нас кто? Валентин. Мне сказали, что Валентин. Я тут написала «В», а потом думаю: а вдруг не Валентин, вдруг Вадим? Или Виктор? Ты его видела?

– Нет.

– И я не видела. Тамара говорит: «Зина, он замечательный, он банкир». А я ей: «Банкир не профессия, а диагноз». Она обиделась. – Зинаида Петровна подвинула Варваре табурет. – Но пирог пусть будет. Если что, срежем «В» ножом, и нет проблем.

– Вы практичная.

– Я кухарка.

Из-за ширмы, закрывавшей угол, вышел Пал Палыч, механик, длинный, сутулый, в промасленной спецовке и с лицом, которое, казалось, никогда не менялось: ни от жары, ни от шума двигателей, ни от радости. Он остановился, посмотрел на Варвару и коротко, по-военному кивнул.

– Варвара Сергеевна.

– Пал Палыч.

– Котлы в порядке, – сказал он. Это была максимально длинная речь, которую она от него когда-либо слышала, и на всякий случай она ответила: «Спасибо, очень рада», хотя на «Герде» давно стоял дизель, и спрашивать об этом не стоило.

– Они вас помнят, – добавил он, развернулся и ушёл обратно за ширму.

– Это значит, что он рад, – пояснила Зинаида Петровна шёпотом. – Сорок лет с ними разговаривает, они ему отвечают, но только по-своему. Ты чаю хочешь?

Они выпили по чашке, сидя на низких табуретах рядом с недостроенным пирогом, и Зинаида Петровна рассказывала, не переставая, про лето: про то, как она вывезла два ведра слив из Липовых Горок, как Эмилия Карловна, увидев это, сказала, что сливы нельзя варить без косточки, а Зинаида сварила с косточкой, и тётя съела и промолчала, что у неё равно высшая оценка. Про Костю, который сдал сессию на «хорошо» и «отлично» и по этому поводу на неделю купил себе тельняшку с длинным рукавом. Про Николая Андреевича, который в июне три дня подряд сидел на пристани в Тарусе, глядя на воду, ничего не говоря, и Зинаида несла ему обед, он говорил «спасибо» и обеда не трогал. Про то, как через три дня он вдруг встал, пошёл в рубку, и «Герда» ожила, как будто её разбудили.

– Он это всю весну, – сказала она. – С апреля. Ходит, как будто что-то в голове нёс, а положить некуда. Теперь положил. Ты не спрашивай его, не надо. Сам расскажет.

– Я не спрашиваю.

– Ты умница. – Зинаида Петровна допила чай и поставила чашку. – Иди в каюту, вещи разложи. Седьмая, как прошлый раз. Он сам распорядился, я и не вмешивалась. Только в восьмую не заходи, там пока закрыто.

– Закрыто?

– Маргарита Эдуардовна просила. – Зинаида Петровна опустила глаза на пирог. – Сказала, что пусть стоит пустая, на время рейса. Я цветы поставила, астры, по её просьбе. А больше ничего не трогала.

Варвара кивнула. Она хотела что-то сказать, не нашла слов и решила, что и не надо, и просто допила чай и пошла по узкому коридору вдоль камбуза.

Каюта номер семь находилась на средней палубе, на левом борту, в конце коридора, у самой переборки, там, где шум машины отдавался в стенах лёгкой, равномерной дрожью. Она знала это место наизусть: красная ковровая дорожка, вытертая посередине, латунные таблички

с цифрами, пахнущий мастикой и деревом воздух, и желтоватый свет бра в медных плафонах. Она шла и считала двери. Пятая, шестая. Вот седьмая.

А рядом с ней, чуть дальше, стояла восьмая.

Дверь была та же, коричневая, лакированная, с латунной цифрой, повешенной чуть криво, как и раньше: Аркадий однажды сказал, что повесит её ровно, когда у него будет свободная минута, и свободной минуты так и не нашлось. На медной ручке висела тонкая чёрная ленточка. Никаких надписей, никаких фотографий. Рядом на полу, в маленькой стеклянной вазе, стояли белые и фиолетовые астры, ещё мокрые, и от них пахло горьковатой осенней свежестью.

Она постояла. Ей почему-то вспомнилось совсем не то, что полагалось бы вспомнить, ни лицо его за дирижёрским пультом, ни жест, которым он поднимал руки перед первым тактом, а вот как он стучал в её дверь в половине седьмого утра и говорил с той стороны ровным, чуть хрипловатым голосом: «Миронова, вы фальшивите во сне. Альт, ля-бемоль, пятая позиция. Я слышу через стену». Он правда слышал. Это было единственным из всего, что он говорил, в чём он не ошибался.

Она не стала касаться двери. Достала ключ, который ей выдал Николай Андреевич на трапе, маленький, латунный, с бирочкой «7», вставила в замок и повернула.

Каюта была такой же. Узкая койка с белым бельём, застеленная красным клетчатым пледом, столик у иллюминатора, на нём лампа с зелёным абажуром, шкаф, два крючка на двери, ковёр, вытертый посередине.Иллюминатор, круглый, в латунной оправе, выходил на левый борт, и сквозь него лился косой, неяркий сентябрьский свет, ложась на плед пятном в форме эллипса. Всё было вымыто, натёрто, и пахло лавандой, которую Зинаида Петровна, видимо, положила в шкаф. На столике, в гранёном стакане, стояла веточка рябины с красными ягодами, и Варвара улыбнулась ей, как улыбаются знакомому в толпе.

Она положила альт на койку, отстегнула замки футляра, достала инструмент и провела ладонью по деке, проверяя. Дерево было тёплым, и ничего с ним за ночь не случилось. В Тарусе она каждое утро делала это, ещё не открыв глаза, и теперь это стало такой же привычкой, как чистить зубы.

Она открыла чемодан и стала доставать вещи, не торопясь, как достают, когда нет нужды спешить: сорочки, свитер, чёрные брюки для концертов, пакет с нотами. Красное платье она вынула последним, расправила, повесила на крючок, и оно повисло, как флаг, ярко и немного нелепо на фоне тёмного дерева. Она смотрела на него и думала, что Эмилия Карловна, наверное, права: платье для всего. Для свадьбы, для концерта, для того, чтобы вспомнить, что ты умеешь носить красное.

Наверху, на палубе, загудели ботинки, и по трапу на причале затопали ноги. Она подошла к иллюминатору и выглянула.

На площади перед вокзалом остановилась чёрная машина, длинная, начищенная, и из неё, прежде чем кто-нибудь успел подойти, вышел водитель и открыл заднюю дверцу. Варвара узнала его сразу, хотя в прошлом сентябре видела от силы пять раз и ни разу не слышала, чтобы он говорил: невысокий, плотный, лет пятидесяти пяти, с аккуратной седой стрижкой и в тёмном костюме, застёгнутом на все пуговицы, несмотря на тёплый день. Анатолий. Он стоял у дверцы с тем лицом, какое бывает у людей, всю жизнь проработавших рядом с кем-то более заметным и давно привыкших быть частью обстановки.

Из машины показалась рука в тонкой серой перчатке, потом нога в туфле на низком каблуке, потом сама Маргарита Эдуардовна. Она выпрямилась медленно, придерживаясь за край дверцы, и постояла секунду, прежде чем двинуться дальше. За год она похудела и поседела почти до белизны: волосы, раньше тёмные с серебром, были теперь собраны в узел на затылке, и в этом было что-то беззащитное, какое видишь в портретах пожилых актрис. На ней было серое пальто, на лацкане сверкала знакомая брошь в форме скрипичного ключа. Она посмот-

рела на вокзал, на шпиль, на воду, и в этом взгляде не оказалось ни удивления, ни привычной, хорошо отрепетированной властности, а было что-то очень усталое и очень решённое.

Анатолий достал из багажника два чемодана и зонт, хотя неба без облаков хватило бы на неделю, и пошёл за ней в трёх шагах, как ходил, наверное, лет двадцать пять. На краю лестницы Маргарита Эдуардовна вдруг остановилась и прижала левую руку к груди, выше, под самой брошью, не вскрикнув и не изменившись в лице, просто остановилась и закрыла глаза. Анатолий, не говоря ни слова, поставил один чемодан, вынул из внутреннего кармана маленькую серебряную коробочку, а из бокового кармана пальто бутылочку с водой, развинтил её и подал. Она взяла таблетку, положила под язык, запила и подождала, пока всё пройдёт. Потом кивнула, и они пошли дальше.

Варвара смотрела на это сверху, из иллюминатора, и чувствовала, как что-то внутри неё делает странное движение, то самое, какое бывает, когда видишь знакомую сцену и понимаешь, что в ней нет места для тебя. Он знал, где лежит коробочка. Он знал, что бутылочку надо держать в боковом кармане, а не в багаже. Он не спросил, нужно ли, он просто подал. Двадцать пять лет, подумала она. Она отвернулась от окна, пригладила волосы, накинула на плечи свитер и пошла на палубу.

Они встретились у трапа. Маргарита Эдуардовна уже стояла у перил, глядя на воду, и услышав шаги, обернулась, и лицо её, на секунду отрешённое, оживилось так быстро, что можно было принять усталость за игру света.

– Варенька, – сказала она. – Как хорошо, что вы здесь. Я боялась, что не приедете.

– Я бы не пропустила.

– Знаю. – Она протянула руку, и Варвара, помедлив, взяла её, и ладонь у Маргариты Эдуардовны оказалась сухой, холодной, с тонкими косточками, как у птицы. – Вы выглядите отлично. Вы стали прямее. Это нужно уметь, особенно в музыке, и не у каждого получается за год.

– Спасибо.

– Зинаида Петровна поставила астры?

– Да.

– Это хорошо. Он любил астры, хотя никогда не признавался. Говорил, что цветы это для людей, у которых нет слуха. – Она слегка улыбнулась. – Я не стану сейчас ничего говорить, вы не обижайтесь. Вечером за ужином скажу то, что должна. А пока просто рада вас видеть. Больше ничего.

Голос её звучал ровно, мягко, как всегда, но Варвара, слышавшая людей раньше, чем различала их лица, уловила в нём то, чего не было год назад. Не дрожь, не слабость. Скорее смещение. Как будто весь голос был опущен на полтона ниже, чем надо, и держался так из последних сил, чтобы не соскользнуть ещё ниже. Она промолчала. Маргарита Эдуардовна отвернулась к воде и сказала уже куда-то в воздух:

– Как здесь красиво в сентябре.

Анатолий, дошедший до трапа с чемоданами, остановился на нижней ступеньке и вежливо наклонил голову.

– Варвара Сергеевна.

– Здравствуйте, Анатолий.

– Позвольте пройти.

Он поднялся, обходя её по самому краю трапа, с таким вниманием, чтобы не задеть, и когда проходил мимо, взгляд его, на долю секунды, скользнул по палубе, по рядам окон на левом борту, и остановился где-то в районе коридора средней палубы. Варвара не могла бы сказать, почему это ей запомнилось. Люди смотрят на окна, это естественно. Взгляд был считающий, как смотрят, когда ищут нужную цифру.

Потом пошёл оркестр.

Они подходили по одному и маленькими группами, с футлярами, с дорожными сумками, с коробками и пакетами, и Варвара, стоя на палубе рядом с Николаем Андреевичем, который вышел встречать с фуражкой в руке, узнавала их по походке, по привычке держать плечо, по тому, как каждый из них смотрел на «Герду»: с опаской, с нежностью, с едва заметным вопросом, что же будет на этот раз.

Первым появился Игорь Павлович Лаврентьев, концертмейстер, сутулый, седой, с тем выражением лица, какое бывает у человека, который слишком долго носил в себе что-то тяжёлое и разучился делать вид, что ничего нет. Скрипичный футляр он держал обеими руками перед собой, как несут стеклянный сосуд с драгоценным содержимым, и не отпустил, даже когда Костя попытался помочь с чемоданом. Он поздоровался кивком, посмотрел на Варвару долгим, немного растерянным взглядом и прошёл мимо, не сказав ни слова.

За ним, шумно, с хохотом, прибыл Гоша Пименов с огромной спортивной сумкой, на которой красовалась наклейка «Не кантовать», а следом, опираясь на трость, несколько старых струнников, которых Варвара знала по лицам лучше, чем по именам, и которые поднимались на трап осторожно, с видом людей, вернувшихся в школу. Юлия Хромова приехала на такси из аэропорта, в светлом пальто и тёмных очках, с лёгкостью, свойственной пианисткам и с тем отсутствующим взглядом, который появляется у людей, много летающих. Она поцеловала воздух возле щеки Варвары и сказала: «Ты ужасно похорошела, это подозрительно». Говорила она по-прежнему слишком быстро, но под скороговоркой в голосе, если вслушаться, пряталась усталость, какая бывает в двадцать шесть лет у человека, который принял слишком много решений в одиночку.

Пряхин прибыл последним. Он вылез из старой иномарки, захлопнул дверцу с такой силой, что на ближайшей скамье вспорхнули голуби, и пошёл к трапу нетвёрдым, спотыкающимся шагом, с надвинутой на лоб кепкой и портфелем под мышкой. Выглядел он хуже, чем год назад: обрюзг, сероват лицом, и под глазами лежали тёмные подковы. Остановившись у перил, он оглядел палубу так, как судебный пристав оглядывает чужую квартиру, и громко, ни к кому конкретно не обращаясь, сообщил:

– Мне разрешили выезд. На неделю. По ходатайству адвоката. Если кто сомневается, могу показать бумагу.

Никто не сомневался. Он прошёл мимо, не получив ни приветствия, ни вопроса, и скрылся в корабельных недрах, оставив после себя запах табака и что-то вроде усталого раздражения.

– Он живёт на подписке уже девять месяцев, – тихо сказал Николай Андреевич. – Свиридов говорит, суд в ноябре. Ему тяжело.

– А тебе?

– Мне нет. Я у него скрипку не крал.

Она засмеялась, коротко, и он улыбнулся ей одними глазами.

Юлия не пошла в каюту. Она стояла у борта, сняв очки и держа их за дужку двумя пальцами, как держат улику, и смотрела на воду, в которой плавали жёлтые листья и обрывок газеты. Варвара подошла и встала рядом. С минуту обе молчали, и это молчание было таким, какое бывает между людьми, у которых давно нет претензий друг к другу, но нет и привычки делиться.

– Вена, – сказала Юлия наконец. – Ты хочешь спросить про Вену.

– Я не спрашивала.

– Ты хотела. Я вижу. – Она повернула голову, и Варвара увидела, что у неё под глазами лежат тонкие, ровные тени, которых не скрывал ни тон, ни тёмные стёкла. – Нормально. Квартира с видом на двор, учительница с характером, два конкурса, где я заняла не то место, которое хотела. Агент есть. Он обещает осенью тур по Германии, но пока обещает.

– Это хорошо.

– Это обыкновенно. – Она пожала плечами. – Я никогда не думала, что взрослая жизнь так устроена: ты всё время ждёшь, пока кто-то обещанное сделает. Я думала, это в детстве.

– Тамара говорит, что в четвёртый раз замужем уже можно не ждать.

Юлия фыркнула, и на секунду стала похожа на себя прошлогоднюю, быструю, насмешливую, в красной помаде и на высоких каблуках.

– Тамара живёт хорошо. Ей повезло, что она не умеет обижаться дольше трёх дней. – Она помолчала, потом повернула очки в пальцах, посмотрела на них и сказала, не глядя на Варвару: – Ты слышала, что Маргарита Эдуардовна пригласила одного человека? Антиквара. Ратнера.

– Нет.

– Он звонил мне в июне. Обещал помочь с контрактом, у него знакомые в Вене и в Мюнхене, и вообще он человек полезный. – Юлия коротко усмехнулась. – Сказал, что мы увидимся на теплоходе и всё обсудим. Я не уверена, что хочу это обсуждать.

– Почему?

– Потому что люди, которые обещают помочь, обычно потом называют цену. – Она надела очки. – Не обращай внимания, я сегодня злая. Я приехала, потому что позвала Маргарита Эдуардовна. Другой причины у меня нет. А у тебя?

– У меня есть билет в седьмую каюту.

– Ага, – сказала Юлия. Больше она ничего не прибавила, но уголок рта у неё дрогнул, и она отвернулась.

Мимо, шаркая и таща за собой спортивную сумку на колёсиках, которая стучала по доскам палубы, как пишущая машинка, прошёл Гоша Пименов. В свободной руке у него была бутылка минеральной воды, которую он держал напоказ, повернув этикеткой вперёд.

– Три месяца, – сообщил он громко, ни к кому не обращаясь и обращаясь ко всем. – Три месяца и одиннадцать дней. Это вам не шутки. Вы оцениваете?

– Оцениваем, – сказала Варвара.

– Вот. А то Лаврентьев вчера сказал, что я всё равно сорвусь, а я не срываюсь. – Он остановился, глядя на бутылку, будто ждал, что она подтвердит. – Ну, почти не срываюсь.

Он пошёл дальше, и колёсики застучали вдаль по палубе, всё тише и тише.

Когда площадь опустела и на причале остались одни провожающие, он тронул её локоть.

– Пойдём. Покажу рубку. У меня там кое-что поменялось.

Рубка была наверху, на самой высокой точке теплохода, под плоской крышей, с большими окнами в три стороны, и войдя в неё, Варвара остановилась. Она помнила её тесной, тёмной, пахнущей маслом, табаком и сырой тканью, с картой на стене, потёртым штурвалом, чайником на подоконнике и несколькими выцветшими фотографиями за стеклом. Теперь стены были выкрашены в светло-серый цвет, штурвал перетянут новой кожей, на стене висела карта, свежая, с ровными цветными линиями фарватера, а на подоконнике, у левого окна, стоял горшок с геранью. Красной. Она стояла и цвела, и лепестки её на солнце казались совсем прозрачными.

– Это Зинаида Петровна, – сказал он.

– Она сказала, что у тебя в рубке не хватает жизни.

– Она сказала, что у меня в рубке не хватает женщины, но я не стал это обсуждать.

Варвара села на высокий табурет у штурвала, и ей показалось, что здесь, наверху, воздух другой: лёгкий, пустой, с запахом нагретой краски и речной воды. Внизу, на причале, суетились люди, переносили ящики, кто-то смеялся, и все эти звуки доходили сюда приглушёнными, как через стекло аквариума. Николай Андреевич налил из термоса чай в две кружки и протянул одну ей.

– Скажи мне, – произнёс он, не глядя. – Ты что-то слышала.

– Откуда ты…

– Ты сидишь так, как сидишь, когда слышишь что-то не то. Спина прямая, пальцы на колене. Я это научился видеть. Что?

Она держала кружку обеими руками и смотрела в окно, на воду.

– Маргарита Эдуардовна, – сказала она наконец. – Голос ниже на полтона. Не от болезни, я слышала болезнь, там совсем другое. Как будто она держит голос, и ей тяжело.

– У неё закрыли фонд. Умер Аркадий. Ей шестьдесят семь, и она впервые за двадцать лет сама собирает оркестр. Это тяжело.

– Да.

– Но ты думаешь о другом.

– Я думаю. – Она поставила кружку на подоконник рядом с геранью. – Я не знаю, что это значит. Может быть, ничего. Может быть, просто осень.

Он молчал, и она чувствовала его рядом: тёплое плечо, спокойное дыхание, запах разогретого сукна и табака, который он носил в кармане, хотя не курил. Потом сказал:

– Ты права, что говоришь. Потом, когда понадобится, мы вспомним. Не торопись.

– Хорошо.

– А теперь иди. Тамара приехала, я вижу такси.

Она посмотрела вниз, куда он показывал. На площади, прямо у самого входа, останавливалась жёлтая машина, и из неё уже вылезало что-то огромное, воздушное, цвета спелой черешни.

Тамара поднялась на палубу как-то сразу вся целиком, так что за ней приходилось следить глазами, как за воздушным шаром. Шляпа цвета черешни, с широкими полями и пером, сидела на ней набекрень. Платье в мелкий цветочек, лёгкое, вздувавшееся от ветра, открывало загорелые руки, на которых звенело столько браслетов, что звук шёл раньше хозяйки. Шла она быстро, почти бегом, расставив руки, и Варвара едва успела подставить плечо, потому что Тамара налетела на неё, как птица на окно.

– Варька! Варька, ты здесь! – Она отстранилась, ухватила Варвару за плечи и затрясла. – Красное платье взяла? Не говори, что не взяла, я тебя убью!

– Взяла.

– Умница. Я всё знала. Я Зинаиде Петровне говорила, что ты возьмёшь. – Она запнулась, и у неё сразу, без перехода, повлажнели глаза. – Боже мой, а я рыдать сегодня не собиралась. Мне Валентин сказал: Тамара, ты будешь рыдать на свадьбе, а до свадьбы держись. Держусь. Видишь? Держусь.

Она вытерла уголок глаза мизинцем, осторожно, чтобы не размазать тушь, и тут же засмеялась. Всё в ней менялось так быстро, что невозможно было уловить момент перехода: только что плакала, и вот уже сияет, как будто это один и тот же звук, взятый с разной силой. Варвара любила её за это.

– А где он?

– Несёт чемоданы. У меня их семь, ты не пугайся, это всё нужное. Валентин, иди сюда!

Он поднимался по трапу медленно, с двумя тяжёлыми сумками в каждой руке и ещё одной на плече, и казалось, что тяжесть ему не в тягость: он ступал ровно, не торопясь, не задыхаясь, и на последней ступеньке, не расплескав ничего из тех вещей, что нёс, поставил всё на палубу и выпрямился. Высокий, худощавый, лет пятидесяти, с аккуратными седыми висками и гладко выбритым, чуть удлинённым лицом, в светлом пиджаке и серых брюках, он стоял спокойно и смотрел так, будто ему предстояло этот вид зарисовать.

– Знакомься, – сказала Тамара торжественно. – Валентин. Валентин Олегович. Это Варвара, о которой я тебе рассказывала. Та самая.

– Очень приятно, Варвара Сергеевна, – сказал он, протягивая руку. – Тамара рассказывала о вас много.

Голос у него был мягкий, негромкий, и звучал так, как звучит дорогая, хорошо настроенная скрипка: ни одного лишнего обертона. Варвара взяла его руку, сухую, тёплую, с аккуратно подстриженными ногтями, ладонью почти без мозолей, пожала и отпустила. И пока отпускала,

поймала себя на странном чувстве, которое не сразу сумела назвать, потому что оно не имело отношения ни к лицу, ни к рукам, ни к словам.

Это было что-то в самой интонации. Он произнёс «очень приятно» ровно, правильно, с нужной паузой, но так, как произносит выученную фразу иностранец, у которого нет ни единой ошибки и нет ни единого собственного оттенка. А когда Тамара назвала его по имени, его «да» после «Валентин» прозвучало на четверть тона выше, чем нужно, и на долю секунды позже, как будто он не сразу откликнулся на то, к чему давно должен был привыкнуть.

– Мне тоже, – сказала она. – Тамара о вас рассказывала.

– Надеюсь, ничего страшного.

– Только хорошее.

– Это ещё страшнее, – сказал он и улыбнулся.

Улыбка вышла правильной, но чуть растянутой, как растянут аккорд, взятый чересчур осторожно.

Она не стала разбирать, откуда это чувство. Люди бывают скованными, особенно рядом с чужими друзьями невесты, особенно накануне свадьбы. У неё самой при встрече с Эмилией Карловной в первый год слова застревали. Она сказала что-то про погоду, он ответил, что сентябрь на воде всегда лучше, чем в городе, и она согласилась. Когда он стоял, ожидая, пока она закончит, она заметила, что он не смотрит на часы. На запястье у него не было часов, и бледной полоски от них не было тоже. Он не доставал телефон. Он вообще ничего не делал руками: не поправлял воротник, не теребил ремень сумки. Он смотрел на теплоход, на людей на палубе, на Николая Андреевича, который в этот момент как раз выходил из рубки, и в этом взгляде было что-то тихое, оценивающее, вроде того, как человек разглядывает карту, чтобы запомнить повороты.

У ног Варвары, до сих пор мирно сидевший, шевельнулся Боцман. Он поднялся, потянулся, глянул на Валентина жёлтыми глазами и, вместо ожидаемого шипения, повёл ухом, отвернулся и ушёл, неторопливо, подняв хвост вертикально, как флагшток. Варвара посмотрела ему вслед. Кот не зашипел. Он просто решил не тратить силы.

Из двери камбуза на палубу вышла Зинаида Петровна, вытирая руки полотенцем. Она шла, поглядывая на гостей так, как смотрят хозяйки, оценивающие качество продуктов, остановилась в трёх шагах от Валентина и спросила, без вступлений:

– Вас как?

– Простите?

– Зовут вас как.

– Валентин, – сказал он вежливо, с лёгким недоумением.

– Слава богу, – сказала Зинаида Петровна с огромным облегчением. – Буква сходится.

Она развернулась и ушла обратно на камбуз, оставив за собой молчание и аромат ванили. Тамара захохотала, Валентин, помедлив, слабо усмехнулся, а Варвара, чувствуя, как в животе что-то скручивается от сдерживаемого смеха, отвернулась и стала усердно разглядывать поручень.

– Не обращайте внимания, – сказала Варвара, вытирая слёзы смеха. – У неё пирог. Восемь этажей, с двумя фигурками. Она вчера всю ночь решала, как вас написать, и не уверена до сих пор.

– Я польщён, – сказал Валентин серьёзно.

Они ушли в сторону кают, он с сумками, она с шляпой, которую держала обеими руками, чтобы не сдуло, и по дороге Тамара обернулась и крикнула через плечо, на всю палубу: «Варька! Вечером поговорим! Мне нужно с тобой! Обо всём!» Она звучала так счастливо, что у Варвары на секунду заныло в груди, и она не смогла бы сказать, от чего именно.

В пятнадцать ноль-ноль, минута в минуту, «Герда» дала гудок.

Он поплыл над водой, над набережной, над липами с их жёлтыми листьями, низкий, густой, чуть хриплый, и, замирая, вернулся эхом от каменного парапета. На палубе все сразу стихли. Кто-то перестал спорить из-за чемодана, кто-то отложил футляр. Лаврентьев, стоявший у борта с руками, сложенными на скрипичном футляре, поднял голову. Юлия сняла тёмные очки. Даже Пряхин, сидевший на лавке у кормы и угрюмо рассматривавший свой портфель, на мгновение выпрямился.

Матросы отдали концы. Костя, красный, важный, стоял на носу с канатом, руки у него были крепкие, ловкие, и он действовал так, как делают то, что отрабатывали десятки раз. Конец упал в воду с мягким плеском, причал качнулся и начал медленно, почти незаметно, отодвигаться. Вокруг на секунду стало очень тихо: ни голосов, ни шагов, один гул двигателя, идущий снизу, ровный, плотный, как дыхание огромного животного.

Эмилия Карловна стояла у самых перил, рядом с ней, на отдельной подушке, принесённой, надо думать, Зинаидой Петровной, сидел Бемоль и смотрел на уходящий берег с видом знатока, оценивающего чужую работу. Тётя курила. Это была её вторая за день, и по часам, на которые она демонстративно поглядела перед тем, как достать мундштук, полагалась только после шести, но Варвара не стала напоминать.

– Хорошо идёт, – сказала Эмилия Карловна. – Без лишних звуков.

– Дизель.

– Я не о моторе. О человеке, который им управляет. – Она выпустила дым в сторону, чтобы не попал на Варвару. – Я его слушала весной, когда он у меня на веранде сидел. Он говорит мало, а тишина у него нормальная. Не пустая. Пустая бывает у людей, которым нечего сказать, а у него другая. Рабочая.

– Тётя.

– Что? Я просто наблюдаю.

Варвара улыбнулась и положила ладони на тёплое дерево поручня. Берег уходил. Площадь с астрами, вокзал, шпиль со звездой становились меньше, ровнее, превращались в картинку, нарисованную на дальнем плане. Над водой стояла лёгкая дымка, и в ней, на самом краю, были видны чайки, они садились и взлетали, и от этого казалось, что кто-то перебирает клавиши.

Она не искала глазами Николая Андреевича, но знала, что он в рубке, наверху, за стеклом, и что смотрит вперёд, на воду, и что ему сейчас хорошо. Она знала это так, как знают погоду: по ощущению на коже.

Бемоль потребовал осмотра каюты через десять минут после отхода, и они пошли втроём: пёс впереди, натягивая поводок, Эмилия Карловна следом, придерживая шляпку, которую так и не сняла, и Варвара с чемоданом, который тётя незаметно переложила ей в руку у самой двери. Двенадцатая оказалась на правом борту, чуть просторнее седьмой, с двумя иллюминаторами и крохотным умывальником, в котором вода шла с таким звуком, будто кто-то вздыхал. Эмилия Карловна обошла каюту, потрогала плед, приподняла угол матраса, заглянула под койку, вынула из сумки накрахмаленную скатерть размером с носовой платок и расстелила на столике. На скатерть встала её чашка, белая, с золотым ободком, с которой тётя не расставалась лет сорок.

– Здесь можно жить, – объявила она. – Матрас жёсткий, но у меня спина любит жёсткое. Бемоль, ты согласен?

Бемоль залез на койку, покрутился, лёг и вздохнул с видом существа, у которого появились претензии.

– Он говорит, что согласен, – перевела Эмилия Карловна и присела на край стула. Правая рука у неё лежала на колене, дрожала, и она на эту руку не смотрела. – Ты видела Маргариту Эдуардовну на причале?

– Да.

– Я тоже, из окна автомобиля, пока Костя искал, где встать. Она останавливалась на лестнице. – Тётя помолчала. – Кто подал ей таблетку?

– Анатолий.

– Из внутреннего кармана. А воду из бокового. – Эмилия Карловна кивнула, словно получила подтверждение. – Я не люблю делать выводы по походке, но скажу, как старая женщина, у которой самой не раз стоял на тумбочке такой стакан. Когда лекарства носит не сама больная, а другой человек, это значит, что она доверяет ему больше, чем себе. Или что боится забыть. Одно из двух.

– Они вместе двадцать пять лет.

– Это много. – Тётя снова помолчала. – Это достаточно, чтобы человек выучил, где лежит каждая вещь. И чтобы привык решать, какая из них нужна сейчас.

Она сказала это без нажима, ровным голосом, каким говорят о погоде, и тут же перевела разговор: спросила, где в этой каюте розетка для лампы и не сквозит ли из иллюминатора. Варвара ответила, что розетка у двери, а сквозить не должно, и вспомнила потом эту минуту только через три дня, в Костроме, ночью, когда стояла на палубе без свитера и никак не могла согреться.

Потом она спустилась в каюту.

Каюта встретила её тишиной и пятном света на пледе, который успел передвинуться и теперь лежал косо, на подушке. Она присела на койку, сняла обувь, поставила ноги на прохладный ковёр и тут увидела то, чего раньше не заметила. На столике под зелёной лампой, чуть сбоку от стакана с рябиной, был выдвинут тонкий ящик, не больше ладони, с латунным кольцом вместо ручки. Раньше он всегда был заперт. Она потянула за кольцо, и он вышел легко, без скрипа, как выходит хорошо смазанный ящик.

Внутри лежал сложенный вдвое листок в клетку, вырванный, как и тогда, из блокнота. Она развернула. Знакомый мелкий, прямой почерк, ни одной помарки.

«Этот тоже не заедает. Проверял. Н. Р.»

Она держала листок и смеялась. Тихо, сама для себя, закусив губу, чтобы не услышали в коридоре. Потом перечитала, аккуратно сложила и положила обратно, туда же, в ящик, и задвинула его. Он вошёл на место без усилия, мягко, как закрывается дверь, которую хорошо знаешь.

За иллюминатором проплывали берега: сначала лодочные станции, потом заросли ивняка, потом вдруг широкая, пустая, залитая солнцем вода, и на ней далеко-далеко, у самого горизонта, маленький белый катер, оставлявший за собой тонкую линию пены. Под полом заработал дизель, ровно, на одной длинной ноте, и она вслушалась в него по привычке, ожидая, что нота сорвётся, перейдёт в другую, начнёт тревожно дрожать. Нота не срывалась. Она тянулась и тянулась, одинаковая, надёжная, и Варвара подумала, что год назад в это самое время ещё не знала, чем кончится рейс, и что сейчас тоже не знает, и что в этом, в общем, нет ничего страшного.

Глава 2

В кают-компании «Герды» к вечеру второго сентября горели все лампы, и от этого она казалась больше, чем была на самом деле: длинная, низкая, обшитая тёмным деревом, с потолком, расписанным когда-то под небо и давно потускневшим, с двумя рядами круглых иллюминаторов вдоль стен и с чёрным роялем в дальнем углу, который стоял так, будто его привезли сюда в те времена, когда пароходы ещё делали из железа покрепче.Столы для ужина сдвинули в один длинный ряд во всю длину салона. Зинаида Петровна накрывала их с четырёх часов, и теперь на каждом лежала накрахмаленная скатерть, стояли тарелки с кобальтовой каймой, графины с морсом, а посередине, на отдельном круглом столике, возвышался пирог, укутанный белой простынёй, как скульптура накануне открытия.

Варвара вошла в шестом часу, задолго до ужина. Она хотела немного поиграть, просто так, чтобы рука вспомнила качку, потому что на воде играется иначе: пол чуть ходит под ногами, и смычок ведёт себя, как человек, который шёл по тротуару, а оказался на льду. В зале никого не было. Из открытой двери камбуза долетал стук ножа о доску, из коридора доносились голоса, а ещё откуда-то издалека, из глубины корабля, шёл ровный механический гул, к которому она за год отвыкла и теперь заново привыкала, ловя его низкую, тянущуюся ноту.

Она дошла до середины зала, остановилась и прислушалась. Что-то было не так, и она не сразу поняла, что именно: воздух в зале стоял слишком тихо, как стоит комната, в которой кто-то есть и старается не дышать.

– Кто здесь? – спросила она.

– Не наступите, – сказали из-под рояля.

Из-под рояля, из тёмного пространства между ножками и тяжёлой педальной лирой, торчали две ноги в стоптанных кроссовках, а чуть выше светилось что-то круглое, как небольшая луна. Варвара шагнула ближе, наклонилась и увидела Дашу. Она лежала на спине, на ковре, в старой клетчатой рубашке, с налобным фонариком, сдвинутым на макушку, и держала над собой в вытянутых руках маленький молоточек с резиновой головкой, которым, видимо, только что стучала по днищу инструмента.

– Ты когда приехала?

– В час. – Даша не пошевелилась. – Я на «Сапсане» утром, потом на такси, меня Костя с кормы провёл, чтобы никто не видел. Папа велел не говорить, пока не отойдём. Он думал, что ты начнёшь беспокоиться за мою учёбу и заставишь выйти в Дубне.

– И правильно думал.

– Вот. – Она улыбнулась снизу, и в свете фонарика лицо у неё стало почти детским, с ямочкой на левой щеке, которую Варвара видела очень редко. – Но я взяла неделю. Белов сказал «берите две», он вообще за лето стал каким-то мягким, ему, наверное, кто-то рассказал про наше дело и он решил, что мы все ненормальные и нас лучше не злить. Привет, Варвара Сергеевна.

– Привет.

– Подайте руку, пожалуйста, я застряла.

Она выбралась из-под рояля с трудом, подтянув ноги и отряхнув рубашку от пыли, и села на ковёр, всё ещё держа в руке молоточек. На коленях у неё лежала раскрытая тетрадь, где что-то было нарисовано карандашом, мелкими, аккуратными линиями, и Варвара, заглянув, поняла, что это схема рояля снизу, с метками и стрелками.

– Что ты делаешь?

– Слушаю. – Даша постучала молоточком по ладони. – Я пришла просто посмотреть, как они у вас тут устроены, раз он старый, начало прошлого века или даже конец. «Беккер», но кто-то сильно переделывал внутри. Смотрите.

Она встала на колени, подползла к инструменту и ткнула пальцем в нижнюю часть корпуса, туда, где дерево было темнее и тише, чем в остальных местах.

– Вот здесь, под басовым мостом, у него звук глухой. Я постучала в нескольких точках, и везде нормально, а тут нет. Как будто внутри что-то лежит, или, наоборот, пустоты там лишку. Понимаете, когда в корпусе делают нишу, пространство начинает работать иначе, и по глухому отклику это можно найти. Я такое видела в Эрмитаже, у одного секретера, там в двойной стенке прятали документы. Здесь похоже. Кто-то вырезал полость, большую, примерно в локоть длиной и в две ладони шириной.

– Зачем?

– Не знаю. Может, на звук, может, для инструмента ставили добавочную деку, может, прятали что-то. – Она пожала плечами. – Винтов снизу не видно, но спереди, под басовым краем, стык у планки подозрительно свежий — будто её на штифтах посадили. Надо будет посмотреть при нормальном свете. Сейчас ужин, мне нельзя в рояль лезть при людях. Завтра утром.

Варвара села рядом на ковёр, поджав ноги. Из-под рояля пахло старым деревом, канифолью, остатками какого-то лака, и она подумала, что именно такой запах бывает у вещей, к которым долго не прикасались, и которые ничуть не обижены и просто ждали. Даша сидела, обхватив колени, и смотрела на рояль так, как смотрят на человека, который что-то скрывает и делает это без злобы.

– А кто его настраивал? – спросила она.

– Савелий Берг. Много лет. До того, как...

– Понятно. – Даша кивнула. – Тогда это не удивительно. Он, судя по тому, что вы рассказывали, любил, чтобы у вещей были двойные стенки.

Варвара засмеялась. Ей давно никто не говорил про Савелия Исаевича так просто, без придыхания, и от этого стало неожиданно легко.

– Расскажи, как ты, – сказала она. – Не про рояль.

– Нормально. – Даша прислонилась затылком к ножке инструмента. – В июне и в июле практика, в августе Белов отпустил на дачу, я вернулась в начале сентября, а тут пирог и шлюзы. Нина Захаровна... – Она запнулась. – Дымов, нотариус, оформил всё, что она хотела, и в августе я ездила к ней. Мне разрешили. Двадцать минут, через стекло. Я привезла ей фотографию восьмого окна, она сказала: «Подержите, чтобы я рассмотрела». Я держала.

– И что?

– Она посмотрела на три птицы и сказала: «Красные клювики совсем как у бабушкиной канарейки». – Даша потёрла глаза тыльной стороной ладони. – Я не знала, что у бабушки была канарейка. Не знала! Прасковья Макаровна, оказывается, держала в доме канарейку и разговаривала с ней по-итальянски. Потому что её клавесин был итальянским». Ей казалось, что птица должна понимать язык инструмента.

– Это очень по-человечески.

– Это очень странно. Но мне понравилось. – Она вдруг подняла глаза. – Вы счастливы?

Вопрос был такой неожиданный и прямой, что Варвара на секунду растерялась. Она хотела ответить привычно, мягко, что всё хорошо, спасибо, но Даша ждала, глядя в упор, серьёзно и без улыбки, как ждёт человек, давно решивший, что хочет получить честный ответ или никакого.

– Наверное, да, – сказала она. – Только я ещё не привыкла. Так бывает: тебе хорошо, а внутри всё время ждёшь, что кто-то сейчас придёт и скажет, что вышла ошибка.

– Я тоже, – сказала Даша. – Так бывает.

Они посидели молча. Над головой тихо поскрипывал потолок, где-то на палубе переговаривались голоса, и от рояля шёл слабый, тёплый запах дерева, на которое долго светили лампы. Потом Даша встала, отряхнула колени, взяла тетрадь и молоточек и сказала уже обычным, деловым тоном:

– Ладно. Мне нужно умыться, я вся в пыли. Вам тоже не мешало бы, вы выглядите, как человек, который весь день ехал в грузовике.

– Я ехала в грузовике.

– Вот. Я так и думала. – Она направилась к двери, но у порога остановилась. – А Тамара правда замуж выходит?

– Правда.

– За того, которого никто не видел?

– Я его видела. Сегодня.

– И как?

Варвара помедлила. Ей не хотелось говорить то, что она думала, потому что думала она пока не то, что можно сказать вслух: расплывчатое, неопределённое, больше похожее на звук, чем на мысль.

– Вежливый, – сказала она. – Очень вежливый.

– Хм, – сказала Даша. Больше ничего не добавила и вышла.

* * *

Рубка в этот час была залита закатом, медным, густым, который шёл через левые окна и ложился на штурвал, на карту, на горшок с геранью, делая всё вокруг чуть нереальным, как на старой открытке. Николай Андреевич стоял у штурвала, не оборачиваясь, ссутулившись больше обычного, и вёл «Герду» по широкой воде Химкинского водохранилища, где фарватер был размечен белыми и красными бакенами, а впереди, на самой кромке горизонта, уже угадывались ворота первого шлюза.

– Ты нашла Дашу, – сказал он, когда она закрыла дверь.

– Она под роялем.

– Она везде. Она сначала хотела просто осмотреть, а потом, я знаю её, пока не обстучит всё, что стучит, не успокоится. – Он слегка улыбнулся. – Я просил не говорить тебе, потому что ты сразу начнёшь считать, сколько занятий она пропускает.

– Я и так считаю.

– Белов отпустил. Сказал, что ей нужно подышать.

– Она мне говорила. – Варвара подошла ближе и встала рядом, глядя вперёд, на воду. – Она нашла в рояле полость.

– Какую?

– Под басовым мостом, такую, что в неё может поместиться что-нибудь размером с локоть. Она думает, что делал Савелий Исаевич.

Николай Андреевич помолчал. Руки на штурвале были спокойными, но пальцы чуть сжались, и она заметила это только потому, что смотрела на них.

– Рояль стоит тут с пятидесятых, – сказал он наконец. – Он остался со времён, когда на «Герде» возили оркестры по Волге для артистических бригад. Тогда они делали всякое, чтобы инструмент пережил качку. Ставили дополнительные стенки, пустоты, чтобы дерево дышало. Не думай ничего плохого. Это может быть просто техника.

– Я не думаю.

– Думаешь. Ты всё время думаешь про Савелия Исаевича, потому что боишься, что он где-то ещё что-то оставил.

– Нет, – сказала она и поняла, что это правда, и поняла ещё, что без этого разговора не поняла бы. – Я боюсь другого. Я боюсь, что вся эта неделя будет такой, что мы потом будем вспоминать и качать головами.

– Тогда будем качать вместе. – Он взглянул на неё сбоку, быстро, коротко. – Подержишь?

– Что?

– Штурвал. Мне надо записать показания, а до шлюза ещё десять минут. Тут прямо, ничего не делай. Просто держи ровно.

Она не успела возразить. Он убрал руки, шагнул в сторону, и штурвал остался в её ладонях, тяжёлый, тёплый от его прикосновения, с перетянутой новой кожей, слегка липкой от лака. Она вцепилась в него обеими руками. «Герда» подчинилась не сразу: нос, как показалось, лениво, нехотя, повело вправо, потом обратно, и Варвара почувствовала, что огромный белый корабль со всеми его пассажирами, пирогом и роялем в её руках ведёт себя как живое существо, которому не всё равно, кто на нём сидит.

– Ты держишь, как смычок, – сказал Николай Андреевич, записывая что-то в журнал. – Слишком сильно. Расслабь кисти. Она тебя слышит. Не надо её уговаривать.

– Как расслабить?

– Представь, что играешь пианиссимо. Только не лишай её воли.

Она послушалась. Выдохнула, разжала пальцы, оставив только лёгкий контакт, и штурвал вдруг как будто стал легче, а «Герда» плавно выровнялась, нос её лёг на линию бакенов и пошёл по ней уверенно, ровно, без подёргиваний. Варвара почувствовала улыбку, которая шла откуда-то изнутри и не имела отношения к её лицу.

– Вот, – сказал он. – Видишь?

– Вижу.

– Она тебя знает.

– Она слушается только тебя.

– Она слушает всех, кто не врёт. – Он закрыл журнал, подошёл, не торопясь, и положил свои руки поверх её, совсем легко, будто боялся придавить. – Теперь я.

Они постояли так. За окнами темнело, но ещё не стемнело, и над водой стоял тот особенный свет, когда небо уже серое, а вода ещё розовая, и бакены с их красными и белыми огоньками казались нарисованными на этом фоне тонкой кистью. В динамике рации затрещало.

– «Герда», я шлюз, – сказал густой, ленивый голос. – Вам зелёный. Входите по правому створу.

– «Герда» принял, – ответил Николай Андреевич в микрофон.

Он повернул штурвал на полоборота, потом ещё на четверть, и огромная каменная стена шлюза с тёмным зёвом ворот поплыла им навстречу, постепенно заполняя собой все окна. Варвара отступила на шаг. С этого места ей были видны и корпус теплохода, и фигуры на носу, и светящиеся иллюминаторы нижней палубы, откуда доносился слабый смех и звон посуды, и казалось, что весь мир сузился до этой рубки, этого штурвала и этих рук, которые вели «Герду» в тёмную, глубокую, холодную воду шлюза, как ведут за руку ребёнка.

– Ты что-то хотела сказать, – произнёс он, не оборачиваясь.

– Откуда ты знаешь?

– Ты дышишь не так.

Она засмеялась, коротко, тихо.

– Про Валентина. Тамара... Я не уверена. Пока только мелочи. Но я слышу, что с ним что-то не так.

– Что именно?

– Он вежлив слишком ровно. Как будто не он говорит, а кто-то за него. И не смотрит на часы. И не достаёт телефон.

– Банкир, который не достаёт телефон, – сказал Николай Андреевич. – Подозрительно.

– Ты шутишь.

– Не шучу. Я просто запоминаю. – Он говорил тихо, спокойно, не отрывая глаз от стены шлюза, которая сейчас смыкалась вокруг них, уже закрывая небо. – Ты расскажешь мне, когда будешь уверена. Или когда не будешь, но захочешь рассказать. Я не потороплю.

– Хорошо.

– А пока... – Он замолчал. Вода под бортом поднималась, медленно, торжественно, с глухим урчанием, и по стенам шлюза прошла дрожь. – Пока давай просто пройдём шлюз.

Они прошли шлюз молча, и в этом молчании не было ни одного лишнего звука.

* * *

До ужина оставалось ещё порядочно времени, и за это время Тамара успела трижды прислать за Варварой Костю, каждый раз с новым предлогом: сначала нужно срочно посмотреть, как сидит платье, потом выбрать между двумя помадами, потом просто посидеть, потому что

у неё внутри всё прыгает. Варвара поднялась на среднюю палубу, постучала в каюту номер четыре и вошла, не дожидаясь ответа, потому что ответа в такие минуты не бывает.

Каюта оказалась самой большой на борту, как положено невесте, и за полчаса Тамара умудрилась превратить её в склад. На койке лежали три платья, ещё два висели на крючке, на столике стояла открытая шкатулка с украшениями, из которой свисали нити бус, под иллюминатором притулился чемодан, из него торчало что-то кружевное, а на подоконнике, как памятник собственной нерешительности, красовалась шляпа цвета черешни. Сама Тамара стояла в центре в одной нижней юбке и в лифе, с распущенными тёмными волосами, и выглядела так, будто собиралась то ли плакать, то ли бежать.

– Ты вовремя, – сказала она. – Скажи, какое?

Она указала на платья. Первое было жемчужно-серое, длинное, с высокой талией. Второе кремовое, в мелкую складку. Третье, нежно-розовое, с пышной юбкой, из тех, что надевают раз в жизни и потом хранят в коробке с нафталином.

– Для чего? – спросила Варвара.

– Для ужина. Нужно выглядеть как невеста, но не как торт. Зинаида Петровна и так торт сделала, мне конкурировать нельзя.

– Серое.

– Ты уверена?

– Оно тебе идёт и в нём можно дышать.

– Ты ничего не понимаешь в нарядах, – сказала Тамара, но тут же взяла серое и начала натягивать, ворча, что Варвара ничего не понимает, а выбрала правильно. Платье село хорошо. Она повернулась к зеркалу, повернулась обратно, поправила бретельку, и лицо у неё на секунду стало мягким, детским, каким бывает у женщин перед зеркалом, когда они в первый раз видят себя счастливыми.

– Застегни, пожалуйста, – сказала она.

Застёжка на спине была мелкая, на девяти крючках, и Варвара застёгивала их по одному, чувствуя под пальцами горячую, чуть влажную кожу и слыша, как Тамара часто и мелко дышит.

– Ты боишься.

– Конечно, боюсь. Мне за сорок, я в четвёртый раз. Я уже знаю, что бывает.

– И что бывает?

– Сначала всё прекрасно. Потом выясняется, что он храпит, или любит футбол, или у него мама. – Тамара обернулась через плечо. – У Валентина нет мамы, она умерла. У него нет футбола, у него нет храпа. Он идеальный. Это меня и пугает.

– Идеальные люди бывают.

– Не у меня. – Она села на койку, смяв розовое платье, и подтянула ноги. – Варька, слушай. Я тебе расскажу, как мы познакомились. Ты же не знаешь. Я ни тебе, ни Эмилии Карловне толком не рассказывала, потому что боялась сглазить.

– Рассказывай.

Варвара села рядом, на край койки, и поправила розовое платье, чтобы не помялось окончательно. Тамара сложила руки на коленях и заговорила, глядя в иллюминатор, на узкую полоску воды, по которой уходил назад берег.

– Это было в марте. В Консерватории был благотворительный концерт, для детского хосписа, я там играла в ансамбле, ничего особенного, шесть минут Дворжака. После концерта ко мне подошёл мужчина. Высокий, в сером костюме, вежливый. Сказал, что купил десять билетов для сотрудников банка и хотел поблагодарить. Спросил, можно ли пригласить меня на кофе. Я сказала, что сегодня не могу, потому что у меня кот. – Она хихикнула. – Он спросил, как зовут кота. Я сказала: Бизе. Он сказал: «Это правильное имя». И всё. Через неделю прислал открытку, без цветов, просто открытку с видом Мойки, в которой написал, что надеется, что Бизе здоров.

– Не лишено обаяния.

– Вот именно! – Тамара повернулась к ней, глаза у неё блестели. – Понимаешь, он ни разу меня не перебил. Я говорила, а он слушал. Я всю жизнь жила с мужчинами, которые слушали себя, а Валентин слушает меня. Всё помнит. Что я пила, как зовут моих учеников, когда у Бизе день рождения. Это ужасно приятно. Это как будто о тебе кто-то заботится, как о чём-то настоящем.

– А он про себя что рассказывает?

– Мало. Он закрытый. Вырос в Ярославле, потом Москва, потом работа. Всё время в банке, у него там что-то сложное с кредитами. Я не вникала, мне неинтересно. – Тамара смахнула с колен воображаемую пылинку. – В июне он сделал предложение. В Коломенском, под яблоней, с кольцом. Вот.

Она протянула левую руку. На безымянном пальце сидело кольцо, не слишком большое, с небольшим бриллиантом, в простой оправе. Красивое, строгое, ничего лишнего. Варвара посмотрела и ничего не сказала, потому что сказать было нечего: кольцо как кольцо.

– Он выбирал сам? – спросила она.

– Нет. Ему, по-моему, консультант посоветовал в магазине. Он вообще всё в таких вещах решает через людей, у него нет вкуса к украшениям. Но я не жалуюсь.

В дверь тихо постучали.

– Это он, – шепнула Тамара и вскочила, одёргивая платье. – Войдите!

Валентин вошёл с подносом. Он нёс на нём две чашки, чайник, сахарницу, тарелку с печеньем, и всё это ровно, без единого дребезжания, как носят официанты, которым много лет платили за точность. На нём был тот же светлый пиджак, только поменявший рубашку, и от него пахло чем-то свежим, прохладным, вроде одеколона, которого Варвара не могла определить. Он поставил поднос на столик, на единственное свободное место, и улыбнулся.

– Варвара Сергеевна, простите, я не знал, что вы здесь. Я принёс чай Тамаре, она с утра не ела.

– Я ела пирожок, – сказала Тамара.

– Один. Это недостаточно.

– Я нервничаю.

– Тогда чай. – Он налил, поднёс чашку ей, и Тамара взяла двумя руками, как берут что-то важное. Потом он повернулся к Варваре и спросил: – Вы будете? Я могу принести ещё одну чашку.

– Нет, спасибо. Мне пора идти играть.

– Конечно. – Он остановился у столика, сложил руки перед собой, и снова стал похож на человека, который смотрит на карту. – Тамара говорила, что вечером все соберутся в кают-компании. Это правда, что приедет Маргарита Эдуардовна?

– Она уже на борту.

– А Лаврентьев? Тот самый, у которого...

– Игорь Павлович, да. Он здесь.

– И Пряхин?

Тамара, отпивавшая чай, хмыкнула.

– Валя, мы тебе рассказывали. Он на подписке, ему разрешили поехать на неделю. Не бери в голову, он безобидный.

– Я не беру. Просто хочу не наступить кому-нибудь на ногу по незнанию. – Он слегка поклонился, как кланяются в театре. – Надеюсь, вечер пройдёт хорошо.

Он вышел так же тихо, как вошёл. Тамара смотрела ему вслед с таким выражением, какое бывает у людей, которым подарили редкую птицу и которые боятся, что она вылетит в окно.

– Видишь? – шепнула она. – Он за мной ухаживает. Он ничего не просит, только ухаживает.

– Вижу, – сказала Варвара.

Она действительно видела. Видела, как он нёс поднос, как наливал чай, как задал три вопроса подряд: про Маргариту Эдуардовну, про Лаврентьева, про Пряхина. Три вопроса. В определённом порядке, от главной к менее важной, и в голосе его не было ни любопытства, ни досужего интереса, которые обычно бывают у человека, желающего понять, куда он попал. Это было другое: ровный, чёткий перечень, как список людей, которых нужно найти.

Она не стала говорить этого Тамаре. Тамара пила чай, смотрела в иллюминатор, и на лице у неё лежал такой свет, какой лежит на лице у человека, впервые за много лет решившего поверить.

– Ты слишком много слушаешь, – сказала Тамара, не оборачиваясь. – Это видно. У тебя левая бровь дёрнулась.

– Я просто думаю.

– О чём?

– О пироге. Тебе надо бы его попробовать до того, как Зинаида Петровна отдаст его гостям. Чтобы знать, не слишком ли сладкий.

– Ты хитрая, – сказала Тамара, но улыбнулась и взяла печенье.

* * *

На верхней палубе, под тентом, на узком пятачке, куда ветер не добирался, стояло плетёное кресло, которое Костя вытащил из кладовой специально для Эмилии Карловны. Тётя сидела в нём прямо, как сидят на вокзальной скамье в ожидании поезда, в той же серой кофте, поверх которой теперь лежал клетчатый плед, и перед ней на низком столике из тика стоял бокал с морсом, к которому она не притрагивалась. Бемоль улёгся у её ног, положив морду на лапы, и следил за палубой глазом, в котором читалась вся тяжесть собачьей ответственности за этот рейс.

Солнце уже село, и небо над водой стало сизым. Берега теперь шли ровные, с редкими домами, с песчаными косами и заросшими тальником островками, и вода от них становилась тёмной, как крепкий чай. Лёгкий ветер приносил запах скошенной травы и дыма, и в нём звучала та самая ранняя осенняя нотка, которую Варвара всегда узнавала где-то под горлом.

Она вышла на палубу, чтобы подышать перед ужином, и остановилась в дверях, потому что тётя была не одна. На соседнем стуле, поставленном напротив, сидел Валентин. Он сидел, чуть подавшись вперёд, с руками на коленях, и слушал, склонив голову, с тем вежливым выражением лица, которое в хороших домах называют «участием». Эмилия Карловна говорила негромко, плавно, не глядя на него, как говорят старые люди, привыкшие, что их слушают до конца.

– ...в шестьдесят восьмом мы приезжали с гастролями, – рассказывала она. – Две недели. Нас поселили в гостинице на Волжской набережной, окна выходили на реку, и каждое утро я просыпалась оттого, что под окнами кто-нибудь продавал рыбу. Вы понимаете, о чём я? У вас, наверное, до сих пор так.

– Рыбу продают, да, – сказал Валентин. – На рынке.

– А на набережной?

– И на набережной. Там есть места.

– Хорошо. – Эмилия Карловна поправила плед. – Мы обычно ходили гулять по Стрелке, смотрели на слияние Волги и Которосли. Вы тоже ходили в детстве?

– Ходил.

– В каком районе вы жили, если не секрет?

Он помедлил на едва заметную долю секунды, за которую человек, видимо, перебирает подходящий ответ.

– В центре, – сказал он. – На улице Свободы.

– Прекрасные дома там. Особенно угловой с лепниной, где в нижнем этаже когда-то помещалась аптека.

– Да. Угловой, с лепниной.

– И фонтан во дворе.

– Фонтан, да.

Эмилия Карловна кивнула и взяла бокал. Она сделала крошечный глоток, поставила на место и повернулась к Валентину лицом, и он слегка выпрямился, как выпрямляются, когда экзаменатор переходит ко второму билету.

– Я спрашиваю потому, что хочу понять, откуда у человека такая вежливость, – сказала она. – Её теперь редко встретишь. Вы учились музыке?

– Нет. – Он развёл руками. – К сожалению. Я человек без слуха. Совсем. Тамара пыталась научить меня различать мажор и минор, и ничего не вышло.

– Совсем без слуха?

– Совсем.

– Бывает. – Эмилия Карловна улыбнулась так, как улыбалась на экзаменах: уголками губ, с лёгким любопытством. – Это редкая вещь, если разобраться, потому что в нашем мире без слуха почти никого нет. Просто многие не знают, что он у них есть. Вы любите музыку?

– Слушаю с удовольствием. Хотя в ней ничего не понимаю.

– Вот и прекрасно. Самые лучшие слушатели те, кто ничего не понимает. Они не придираются.

Он засмеялся, негромко, любезно, и Варвара, стоявшая в дверях, заметила, что смеётся он на выдохе, не раскрывая рта, как смеются люди, которым в детстве запрещали шуметь. Тётя на секунду посмотрела на неё, и в этом взгляде не было никакого знака, только спокойная, безразличная пристальность.

– Валентин Олегович, – сказала Эмилия Карловна, – вы не могли бы принести мне плед из каюты? Тот, красный. Мне кажется, этот слишком тонок.

– Разумеется.

– Двенадцатая, правый борт. Он на койке. И, если вас не затруднит, там же лежит мундштук в красной коробочке.

– Конечно.

Он встал и ушёл, учтиво кивнув Варваре на ходу, и его шаги, лёгкие и ровные, затихли в коридоре.

Варвара подошла и села на его стул. Он был тёплый.

– Мундштук лежит в сумке, – сказала Эмилия Карловна. – Я его специально там оставила. Красный плед тоже в сумке, я не клала его на койку. Пусть ищет.

– Тётя.

– Что? Это называется проверка на внимательность. Он принесёт тот, что найдёт, и ты увидишь, сколько времени ему понадобится, чтобы вернуться и сказать, что ничего не нашёл. Человек, который хочет понравиться, не возвращается с пустыми руками. Он возвращается с чем-нибудь. – Она взяла бокал. – Ты тоже слышала?

– Что?

– Про Ярославль. Ты же слушала с порога.

– Слышала.

– Говори.

– Он ответил на всё правильно. Но слишком быстро и слишком одинаково. «Угловой, с лепниной», «Фонтан, да». Он повторял за тобой.

– А ты что слышала?

– Что фонтана там нет. – Варвара помолчала. – Ты ведь его сочинила. Я бывала на Свободе, никакого фонтана во дворах не помню. И аптеки на углу тоже.

– Умница. – Эмилия Карловна сказала это с таким удовлетворением, с каким говорят, когда ученик наконец понял задачу. – И про аптеку я сочинила. Было бы смешнее, если бы

я придумала театр, но аптека правдоподобнее. Он подхватил всё, что я предложила, потому что человек, выросший в городе, обязательно возразил бы. Сказал бы: «Нет, там не аптека, а булочная, и фонтана нет, зато есть голуби». Живая память всегда вредная. Она спорит с вами. А тут не спорили.

– Он может просто быть вежливым.

– Вежливость не доходит до того, чтобы соглашаться с неправдой про город, в котором ты вырос. Это уже не вежливость. Это страх. – Тётя погладила Бемоля, который с интересом поднял голову. – Человек, который заучил биографию, всегда боится, что его поправят, и потому соглашается. Но я не говорю, что он преступник. Я говорю, что он не тот, кем представляется. Это разные вещи.

– Тамара влюблена.

– Тамара влюбилась в то, что ей предложили. Это бывает с лучшими из нас. – Эмилия Карловна вздохнула. – И что с этим делать, я не знаю. Мы не можем сказать ей, что жених говорит неправду про Ярославль. Она спросит, какое нам дело до Ярославля.

– Что же?

– Наблюдать. – Тётя посмотрела на воду. – Ты это умеешь. А я для этого и приехала.

Валентин вернулся через пять минут, без пледа и без мундштука, и остановился перед тётей, сложив руки перед собой.

– Простите, Эмилия Карловна. Я посмотрел везде: на койке, на столе, в шкафу, под койкой. Ни красного пледа, ни коробочки нет. Могу сходить к Зинаиде Петровне, у неё, наверное, найдётся запасной.

– Не нужно, – сказала Эмилия Карловна. – Я, видимо, оставила в сумке. Спасибо, что искали.

– Рад был помочь.

– Идите, милый, вас там ждёт невеста.

Он слегка поклонился и ушёл, и дверь за ним закрылась мягко, без стука. Эмилия Карловна подождала, пока шаги стихнут, потом достала из-под кофты красный плед, который лежал у неё на коленях с самого начала, прикрытый другим, и положила рядом с мундштуком.

– Он не стал врать, – сказала она. – Это любопытно. Я ждала, что принесёт что-нибудь, лишь бы не возвращаться с пустыми руками. Люди, которые боятся не понравиться, так и делают. А он сказал правду и предложил выход. Значит, там, где ему нечего заучивать, он спокоен. Когда он говорит о городе, которого не знает, он подхватывает всё, что ему подбросят. Выходит, врёт только то, что выучил.

– Ты думаешь, он выучил биографию?

– Я думаю, что человек, который родился в городе, не соглашается с аптекой на углу, если там никогда не было аптеки. – Тётя вздохнула. – Но теперь мы хотя бы знаем: он не импровизирует. Он идёт по заученному тексту. И нам нужно понять, кто этот текст написал.

Из-за борта налетел ветер, холодный, с запахом воды, и верхушки тентов гулко хлопнули над их головами. Бемоль встал, встряхнулся и посмотрел на Варвару так, будто напоминал, что ужин никто не отменял.

* * *

На камбузе в начале девятого стоял такой жар, что запотели стёкла, и Зинаида Петровна, стоявшая посреди этого пара с поварёшкой в руке, выглядела как капитан на мостике в шторм. Все четыре конфорки были заняты, из кастрюль валил пар, пахло укропом, тушёным мясом, горячим хлебом, и по полу, огибая табуретки, метался Костя с подносами, красный, взмокший, но счастливый тем счастьем, которое бывает у молодых людей, когда им доверили настоящее дело.

Варвара зашла за хлебом, и Зинаида Петровна, не оборачиваясь, ткнула поварёшкой в сторону корзины на столе.

– Бери. И соль на стол отнеси, там не хватает. И скажи Косте, чтобы не бегал, а ходил, он мне пол сотрёт. – Она вдруг остановилась, посмотрела на неё и понизила голос: – Слушай. Иди сюда.

Они отошли в закуток за ширмой, где стояла бочка с огурцами и висели связки лука.

– Он ко мне приходил, – сказала Зинаида Петровна шёпотом.

– Кто?

– Этот. Твой Валентин. Не твой, Тамарин. Часа три назад, пока я крем делала. Вошёл, вежливый, чуть не поклонился. Говорит: «Зинаида Петровна, не могу не заглянуть на вашу кухню, мне Тамара столько рассказывала». Я ему налила чаю, он выпил, посмотрел на пирог, сказал, что это шедевр.

– Он и правда шедевр.

– Правда. Но он так сказал, как говорят люди, которые пирог не едят, а оценивают. – Зинаида Петровна вытерла руки о фартук. – Потом он спросил, на сколько человек я готовлю на послезавтра. На Углич.

– И что вы сказали?

– Что на двадцать два, как в списке. А он говорит: «Мне кажется, будет двадцать три. Кажется, в Угличе кто-то поднимется». Я говорю: «Откуда вы знаете?» Он замялся и сказал, что слышал от Тамары. А я Тамару знаю: она вчера по телефону мне полчаса рассказывала про платье, про тюль, про бабушкины жемчуга, и ни слова про лишних пассажиров. – Она сжала поварёшку. – Откуда ему знать, Варенька?

– Не знаю.

– И я не знаю. Но у меня в желудке сразу что-то стало, как в тесте перед тем, как оно упадёт. – Она помолчала. – Может, ничего. Может, Маргарита Эдуардовна кому-то сказала. Я не буду выдумывать. Но тебе говорю, потому что ты умеешь слушать.

– Спасибо.

– Только Тамаре ни слова. У неё глаза такие, как у человека, которому подарили щенка. Как я ей скажу, что у щенка зубы?

Варвара взяла хлеб и соль, и мысль, до этого висевшая в голове смутной тучкой, неожиданно получила очертания. Двадцать два, потом двадцать три: пассажир, о котором никто не знал, но о котором знал Валентин. Или все знали, кроме неё и Зинаиды, а Маргарита Эдуардовна объявит это вечером, и всё окажется просто обычной цепью случайностей.

Она не любила случайностей, которые вставали в ряд.

В коридоре, у лестницы на среднюю палубу, она почти наткнулась на Анатолия. Он нёс обеими руками большую плетёную корзину, прикрытую салфеткой, и остановился, пропуская её, так аккуратно, что она не сразу поняла, что он остановился ради неё. Из-под салфетки выглядывали горлышки двух бутылок, тёмная вишнёвая настойка и светлый грушевый сок, а рядом коробка конфет в золотой обёртке.

– Для гостей, – сказал он тихо, заметив её взгляд. – Маргарита Эдуардовна любит дарить к приезду. Это на столы. Зинаида Петровна знает.

– Красиво.

– Она так привыкла. – Он слегка поправил салфетку. – Варвара Сергеевна, если позволите. Маргарита Эдуардовна просила передать, что на третьей каюте подготовлено всё к приезду одного человека. В Угличе поднимется господин Ратнер. Она просила, чтобы вы были в курсе, потому что после ужина будет объявление.

– Спасибо. Я слышала, что он приедет.

– Тогда я не буду отвлекать.

Он слегка наклонил голову и пошёл дальше по коридору, неся корзину ровно, не качая. Она смотрела ему в спину, на аккуратный затылок с седыми волосками, на тёмный пиджак, застёгнутый на все пуговицы, и думала, что человек, который двадцать пять лет приносит и уносит чужие вещи, обязательно должен быть либо святым, либо очень внимательным, и что ей хочется знать, как это отличить.

Из камбуза донёсся голос Зинаиды Петровны: «Соль! Где соль, я просила соль!» Варвара вздрогнула, посмотрела на солонку, которую так и держала в руке, и пошла накрывать на стол.

* * *

В кают-компании было пусто, но не тихо. Варвара вошла с солью и хлебом, расставила солонки по столам и уже хотела подойти к пирогу, чтобы поправить простыню, которая сползла набок, когда простыня сама сдвинулась. Медленно, с достоинством, по-кошачьи, как сдвигается тяжёлый театральный занавес. Из-под неё показалась широкая серая голова с рваным ухом, красным бантом и совершенно спокойным выражением морды.

– Боцман, – сказала Варвара.

Кот посмотрел на неё жёлтыми глазами и не двинулся. Он сидел на самом краю круглого столика, вплотную прижавшись боком к нижнему ярусу пирога, не касаясь ни крема, ни сахарных цветов, и сидел так прямо и торжественно, будто его только что назначили главным по десертам.

В дверях показался Костя, красный, запыхавшийся, с полотенцем на плече.

– Он здесь! – сказал он шёпотом. – Я его по всему кораблю ищу. Зинаида Петровна велела, чтобы он на ужин с бантом, а потом оказалось, что бант он сам не снимет, а к ужину надо, чтобы он был на месте.

– Он на месте.

– Он на пироге.

– Он рядом с пирогом.

– Если Зинаида Петровна увидит, она его отправит в машинное.

– Ему всё равно, – сказала Варвара. – Пал Палыч с ним разговаривает на одном языке.

Костя на цыпочках приблизился, протянул руки и осторожно взялся за кота под передние лапы. Боцман не сопротивлялся, но и не помогал, превратившись в безвольный мешок, который тяжелеет с каждой секундой. Костя поднял его, согнулся, подержал на весу, и у него на лбу выступила испарина.

– Он килограмма двенадцать, не меньше, – пробормотал он.

– Одиннадцать с половиной, – сказал голос от двери.

В дверях стоял Николай Андреевич, в парадном кителе, без фуражки, с таким лицом, какое бывает у человека, наблюдающего за небольшой, но трогательной катастрофой. Он подошёл, взял у Кости кота, и Боцман тут же, без малейшего усилия, повис на его руках уютной тёплой тушкой, свесив лапы и хвост.

– Он не вредит, – сказал Николай Андреевич. – Он караулит. Он думает, что пирог кто-то захочет унести.

– А кто захочет? – спросил Костя.

– Он не уточнял.

Кот на его руках прикрыл глаза и негромко, глубоко, с тем особенным урчанием, какое Варвара слышала у него только в рубке, заговорил о чём-то своём. Николай Андреевич опустил его на пол рядом с роялем, и Боцман, обойдя зал кругом и внимательно обнюхав каждый стул, лёг у ножки столика с пирогом, головой к двери, как караульный на посту.

– Оставим, – сказал Николай Андреевич. – Зинаида Петровна разрешит. Скажу ей, что это почётный караул.

– Она вам поверит?

– Поверит, если скажу серьёзно.

Он повернулся к Варваре, и на секунду глаза у него потеплели, но потом на лице появилось что-то другое, быстрое, и он тихо, одними губами, спросил: «Лаврентьев?» Она кивнула. Он посмотрел в дальний угол, где на диванчике, под лампой, сидел сутулый человек, не замечавший ничего вокруг, и отступил на шаг назад, давая понять, что не мешает.

Николай Андреевич ушёл в рубку, оставив у двери тихий запах сукна и морской соли, и Варвара, помедлив, подошла к дивану в дальнем углу, за роялем, где между иллюминаторами сидел Лаврентьев. Он сидел сгорбившись, с футляром на коленях, и не двигался так долго, что она вначале приняла его за часть интерьера.

– Игорь Павлович.

Он поднял голову. Лицо у него было серое, с набрякшими веками, как у человека, который не спал несколько ночей. Губы чуть шевельнулись, и он произнёс что-то вроде приветствия, но так тихо, что она не расслышала.

– Можно?

Он кивнул, и она села рядом, на край диванчика, поставив локти на колени. Над ними висела лампа в матовом плафоне, и от неё на футляр падал мягкий жёлтый круг. Лаврентьев смотрел на этот круг, а не на неё.

– Вы выглядите уставшим, – сказала Варвара.

– Я не спал. – Он потёр глаза пальцами. – Вторую неделю. С тех пор, как мне позвонила Маргарита Эдуардовна и сказала, что нашла. Вы знаете, что она сказала?

– Только то, что оригинал нашёлся.

– Она сказала: «Игорь, она будет у вас в руках в Плёсе». И повесила трубку. Я сидел и смотрел на стену. Потом достал футляр, открыл и положил рядом с телефоном. – Он помолчал. – Эту скрипку, Варвара Сергеевна, я играл семнадцать лет и думал, что она настоящая. Потом мне сказали, что нет. Потом выяснилось, что сказали правду. Я год с ней жил как с человеком, которого предали, и я не знал, прощать или нет.

– Простили?

– Я учусь. – Он положил руку на крышку. – Но дело в другом. Я боюсь не того, что оригинал найдётся. Я боюсь, что он найдётся, а я его не узнаю.

– Узнаете.

– Вы не понимаете. – Он говорил медленно, без упрёка, как говорят врачу про боль, которую трудно описать. – Два года, с шестого по восьмой, я играл на настоящей. Я помню её звук так, как помнят голос человека, которого видел редко. Потом в Мантуе её подменили, и семнадцать лет я играл копию, которая звучала похоже, и каждый день уговаривал себя, что звук тот же. Привык. Понимаете? Привык к подмене. А теперь мне привезут настоящую, я возьму её в руки, и вдруг окажется, что мне больше нравится копия.

– Это возможно?

– Это возможно, – сказал он. – Память хитрая. Она подстраивается под то, что у тебя в руках. Я боюсь, что я старый человек, который не отличит голос любимой женщины от голоса её двойника, потому что двойника слушал дольше.

Она не нашлась с ответом. Она сидела рядом с ним, слушала гул двигателя, который шёл откуда-то снизу, и чувствовала, как внутри у неё что-то медленно, осторожно сдвигается, как сдвигаются камни в стене, когда дом оседает.

– Игорь Павлович, можно я попрошу? – сказала она наконец.

– О чём?

– Сыграйте мне. На той, на копии. Не пьесу. Просто ноту. Какую хотите.

Он посмотрел на неё впервые за весь разговор. Глаза у него были светлые, водянистые, с красными прожилками, и в них шевельнулось что-то, что можно было назвать удивлением или благодарностью.

– Зачем?

– Чтобы я запомнила. Если вы не узнаете, узнаю я. Мне не нужен звук, мне нужны обертоны. Я их слышу лучше, чем целые ноты. Вы играйте, а я запомню, каким голосом она говорит, когда ей не врут.

Он молчал. Потом медленно открыл футляр, достал скрипку, осмотрел, как осматривают ребёнка, вернувшегося с улицы, поднёс к плечу и взял смычок. Рука его дрожала. Он сыграл ноту «ля», открытую струну, длинную, на всю ширину смычка, в полную силу, потом ещё одну, «ми», потом снова «ля». Звук вышел звонкий, чистый, с лёгкой хрипотцой в верхнем регистре, и в нём было то, что она запомнила с прошлой осени: упрямая, чуть тусклая красота хорошей, но не великой скрипки.

– Вот, – сказал он, опуская смычок. – Это копия.

– Спасибо.

– Вы запомнили?

– Да.

– Тогда я вам верю. – Он вернул скрипку в футляр и защёлкнул замки. – Знаете, что странно? Мне стало легче. Не потому, что вы что-то сказали. Просто я перестал быть один с этим.

В коридоре, за дверью, послышались шаги, голоса, смех, и кто-то громко крикнул: «Ужин!» Лаврентьев встал, распрямил спину, и из согнутого пожилого человека, каким он был минуту назад, вдруг получился почти прежний, подтянутый, с гордой посадкой головы.

– Пойдёмте, – сказал он. – Надо слушать, что скажет Маргарита Эдуардовна. Я слушаю всё, что она говорит, но в этот раз буду слушать особенно.

Они вышли вместе, и в дверях Варвара оглянулась. Рояль в углу стоял, закрытый крышкой, большой, чёрный, молчаливый, и при свете ламп на его боку, там, где Даша стучала молоточком, виднелось слабое пятнышко, почти невидимое глазом: мягкая вмятина на лаке, как от пальца.

* * *

Гости входили в кают-компанию по одному и по двое, и от этого зал оживал постепенно, как оживает сцена перед спектаклем, когда зажигают лампы ряд за рядом. Первой пришла Тамара, в жемчужно-сером, с распущенными волосами, чуть смущённая, и рядом с ней, чуть позади, Валентин, в тёмном костюме и белой рубашке без галстука, с лицом человека, которого приглашают на приём и который помнит каждое правило этикета. Она держала его под руку, как держат что-то хрупкое, что вот-вот выскользнет.

Эмилия Карловна вошла под руку с Дашей. Тётя надела чёрное шёлковое платье с высоким воротом, которое надевала раз в год, и приколола к нему брошь с мелким гранатом. Даша была в чистой рубашке, с мокрыми после душа волосами, заплетёнными в тугую косу, и держалась так, будто привыкла входить в залы, где обсуждают серьёзные вещи. За ними на поводке семенил Бемоль, в этот раз без ворчания, с видом дипломата на приёме.

Юлия, в чёрном, с красной помадой, села в дальнем конце, ближе к двери, и посмотрела на всех сразу и ни на кого в отдельности. Гоша Пименов, выбритый до синевы, с мокрым зачёсом, устроился напротив бутылки с минеральной водой и демонстративно налил себе стакан. Пряхин сел с краю, не снимая кепки, пока Костя тихо не сказал ему на ухо что-то, после чего кепка перекочевала на колени. Лаврентьев занял место возле рояля, положил руки на скатерть и замер, глядя прямо перед собой.

Последними вошли двое. Анатолий нёс под локоть Маргариту Эдуардовну, и она шла медленно, в тёмном платье, с той самой брошью в форме скрипичного ключа, высоко держа седую голову, как держат на параде, и когда зал стих при её появлении, Варвара услышала, как шумно, судорожно вздохнул Пряхин. Николай Андреевич в парадном кителе вошёл следом, и на его лице были и серьёзность, и усталость, и что-то ещё, чему не подходило имя.

Зинаида Петровна, стоя в дверях камбуза, развязала фартук, сняла платок, пригладила волосы ладонями и вышла в зал в праздничном платье, синем, с белым воротничком, которого Варвара не видела на ней года три. Она остановилась у пирога, поправила простыню и осторожно переступила через серого кота, который по-прежнему караулил у ножки столика, и огляделась с тем выражением, с каким хозяйка, поставившая на стол всё лучшее, ждёт, что гости наконец сядут.

Варвара села между Дашей и тётей, в тёмно-синем платье, которое выбрала в последнюю минуту, пожалев красное для свадьбы. Красное висело в каюте на крючке и ждало своего часа. Напротив, через стол, Валентин расправил салфетку, положил на колени и сложил руки так ровно, будто его научили этому когда-то раз и навсегда. Она отвела глаза, но боковым зрением всё равно видела, как он смотрит на Маргариту Эдуардовну: внимательно, без любопытства, с тем терпеливым ожиданием, с каким смотрят на часы перед поездом.

Они сели. Тихо, слегка неловко, как садятся в церкви, не зная, когда можно будет кашлянуть. Свет в зале стал ярче, и на тарелках с кобальтовой каймой заиграли блики. За иллюминаторами темнело, в стёклах отражались лица, и казалось, что их вдвое больше, чем на самом деле: те, что сидят за столом, и те, что смотрят на них из воды.

Маргарита Эдуардовна встала, взяла со стола тонкую серебряную ложечку и тихо, один раз, ударила ею о край бокала.

Глава 3

– Я не умею говорить речи, – сказала Маргарита Эдуардовна. – Аркадий умел. Он мог встать и три минуты рассказывать про погоду так, что все расходились с чувством, будто им объяснили устройство вселенной. Я так не умею, поэтому буду коротко.

Она стояла у своего места, во главе стола, одной рукой опираясь на спинку стула, и свет лампы над ней бил сверху, делая лицо суше и строже, чем оно было на самом деле. Серебряная ложечка лежала рядом с бокалом, поблёскивая. За иллюминаторами сомкнулась ночь, и в стёклах отражались все сидящие за столом: два десятка лиц, перевёрнутых и чуть размытых, как на старой фотографии, где люди слегка пошевелились.

– Год назад мы собрались здесь же, – продолжала она. – Многие из вас помнят, чем это закончилось. Я не буду повторять. Я хочу сказать только, что оркестр, который я собирала двадцать лет, распался за одну ночь, а потом ещё за одну осень. Фонд закрыт. Мне больше нечем платить вам жалованье, нечем снимать зал, нечем покупать ноты. Я не могу пообещать, что мы соберёмся снова. Я даже не знаю, нужно ли это. Но мне хочется, чтобы вы пришли на этот рейс и сыграли в Плёсе, на том причале, ради него.

Она замолчала. В зале было так тихо, что слышно стало, как за переборкой, в камбузе, что-то капает: кран или конденсат. Тамара, сидевшая справа от Валентина, прижала пальцы к губам. Юлия, которая весь вечер смотрела в тарелку, подняла глаза. Гоша Пименов с неподдельным вниманием изучал узор на скатерти.

– Седьмого сентября будет год, – сказала Маргарита Эдуардовна. – Я хочу поднять бокал за то, чтобы мы вспомнили его без злости. Он был трудным человеком. Но когда он поднимал руки, у вас получалась музыка, а не набор звуков. За Аркадия.

Все встали. Бокалы поднялись неровно, со стуком, и в этом стуке было что-то неловкое и очень живое. Варвара подняла свой, и заметила, что рука у неё не дрожит, и что рядом Даша, встав последней, держит бокал двумя пальцами за ножку, как держат хрупкую вещь. Выпили стоя. Кто-то тихо сказал «светлая память», кто-то промолчал.

– Садитесь, – сказала Маргарита Эдуардовна. – Я не закончила.

Они сели. Она подождала, пока утихнет шорох отодвигаемых стульев, и посмотрела на каждого по очереди, неторопливо, как смотрят на лица людей, которых знают очень давно. Взгляд её задержался на Лаврентьеве. Потом на Пряхине. Потом, на долю секунды, на Валентине, и Варвара заметила, как слегка, едва заметно, напряглись его пальцы на скатерти.

– Я хочу сообщить вам новость, – сказала Маргарита Эдуардовна. – Она важная, и я прошу вас выслушать до конца, не перебивая, потому что у меня нет сил повторять. Скрипка Гваданини нашлась.

Тишина, которая до этого просто стояла в зале, вдруг стала плотной, как вода. Кто-то выронил вилку. Она звякнула о тарелку, скатилась на скатерть, и этот звук, мелкий, металлический, прозвучал так громко, что все вздрогнули. Варвара повернула голову и увидела, что

вилку уронил Пряхин. Он сидел, не двигаясь, с разведёнными руками, и смотрел на Маргариту Эдуардовну так, как смотрят на человека, который только что сказал что-то непоправимое.

– Нашлась? – переспросил он хрипло. – Что значит нашлась?

– То, что сказано. Подлинная скрипка, та самая, которую купил наш фонд в две тысячи шестом году. Она сохранилась. Она в хорошем состоянии. И её готовы вернуть.

– Кто? – Пряхин подался вперёд. – Кто готов?

– Владелец. Он пожелал остаться неизвестным. Это человек, который купил её много лет назад, не зная её истории, а потом, узнав, решил, что инструмент должен вернуться туда, где ему положено быть. Он не требует ни денег, ни условий. Он требует только, чтобы скрипка прозвучала на концерте памяти. – Она слегка повернула голову. – Передаст её нам посредник. Борис Ратнер. Он антиквар, специалист по происхождению редких инструментов. Он поднимется на борт в Угличе завтра в час дня и привезёт скрипку с собой.

Имя прозвучало, и Варвара, следившая за лицами, увидела три реакции подряд, быстрые, как вспышки. Юлия, не меняясь в лице, положила нож на край тарелки, ровно, параллельно вилке, как кладут оружие. Пряхин побледнел так, что на скулах проступили красные пятна. И Лаврентьев, который до этого сидел, вцепившись обеими руками в край стола, медленно разжал пальцы и откинулся на спинку стула, с закрытыми глазами, как человек, у которого только что отняли привычную боль.

– Я знаю Ратнера, – сказал Пряхин. Голос его звучал не так, как обычно: без гулкости, без бравады, с каким-то мелким, дрожащим оттенком. – Я с ним встречался. Он плохой человек.

– Он честный специалист, – ответила Маргарита Эдуардовна ровно. – Я работаю с ним много лет.

– Он...

– Вадим Ильич. – Она не повысила голоса, но он замолчал. – Мы поговорим об этом отдельно. Не сегодня.

Пряхин сжал губы. Он смотрел на неё, и на лице у него, в красных пятнах и подёргивающейся мышце под глазом, было что-то такое, чего Варвара не могла прочитать, потому что оно менялось слишком быстро: гнев, страх, расчёт, снова страх.

– Позвольте, – сказал Лаврентьев. Он открыл глаза. – Маргарита Эдуардовна, вы убеждены, что это она?

– Я убеждена, что мне так сказали. – Она слегка пожала плечом. – Поэтому здесь Дарья Николаевна. Даша, вы согласитесь осмотреть инструмент, когда он будет на борту?

Все повернулись к Даше. Она сидела выпрямившись, с красными ушами и вилкой в руке, и сначала, кажется, не поняла, что обращаются к ней. Потом отложила вилку.

– Я не эксперт по скрипкам, – сказала она. – Я реставратор клавишных и немного по лаку. Но по лаку могу.

– Этого достаточно. Мне нужен человек, которому я доверяю, а не человек со званием. – Маргарита Эдуардовна чуть улыбнулась. – Эмилия Карловна меня уверила, что вы не из тех, кого легко обмануть.

– Я просто не люблю, когда мне врут, – сказала Даша.

– Это то же самое.

За столом кто-то засмеялся, нервно, коротко, и напряжение чуть отпустило. Юлия подняла бокал, посмотрела на свет и сказала, ни к кому не обращаясь:

– Значит, концерт в Плёсе будет на настоящей.

– Если всё пройдёт хорошо, – сказала Маргарита Эдуардовна. – Концерт шестого, в восемь вечера, на причале. Перед ним, в пять, как вы знаете, Тамара и Валентин будут расписываться, и я рада, что свадьба и память соседствуют. Это правильно. Жизнь не делится на части.

Тамара, до этого сидевшая тихо, сжав руку жениха, вдруг всхлипнула и закрыла лицо салфеткой. Валентин мягко положил ладонь ей на плечо и сказал что-то на ухо, и она засмеялась, не отнимая салфетки. Варвара смотрела на них и видела, как тщательно, почти нежно он ей что-то объяснял. Видела и другое: как его взгляд, не двигаясь, оставался прикованным к Маргарите Эдуардовне, и как в нём не отражалось ничего, кроме спокойного, внимательного, терпеливого ожидания, с каким человек слушает уже известное.

– Спасибо, – сказала Маргарита Эдуардовна. – Это всё. Ешьте, пожалуйста, пока не остыло. Зинаида Петровна, я знаю, что вы старались.

Она села. Анатолий, стоявший за её стулом, неслышно наклонился и поправил на спинке шаль, потом так же тихо отступил на шаг. На лице у Маргариты Эдуардовны не было ничего, кроме усталости, глубокой, почти физической, как у человека, который долго нёс тяжёлую вещь и только что поставил её на пол. Но руки, лежавшие на скатерти, мелко дрожали, и ложечка рядом с бокалом тихо, едва слышно, позванивала в такт.

Зинаида Петровна, стоявшая в дверях, хлопнула в ладоши.

– Кушать! – объявила она. – Суп стынет!

И в зале сразу стало шумно, как будто кто-то повернул ручку на громкости: зазвенели ложки, затрещали стулья, закашляли, засмеялись, и разговор, до того придавленный, разом рванул вверх, перебивая сам себя.

* * *

Суп оказался куриным, с домашней лапшой, прозрачным, как слеза, с веточкой укропа на дне тарелки, и первое время все ели молча, склонившись над ним, как над чем-то, что требует

сосредоточенности. Потом заговорили. Сначала вполголоса, соседу, потом громче, через стол, потом разом, и в зале поднялся тот самый гул, по которому Варвара скучала весь год: оркестр голосов, где каждый вступает в свой такт и никто не слушает дирижёра.

– Вы заметили, что она не сказала, кто владелец? – спросила Юлия.

Она сидела напротив, через стол, и ела суп аккуратно, без звука, как едят люди, привыкшие к ресторанам. Помада на её губах осталась нетронутой.

– Заметила.

– Это странно. Когда человек возвращает инструмент, который стоит как дом, он обычно хочет, чтобы его похвалили.

– Может быть, он скромный.

– Скромных коллекционеров не бывает. – Юлия положила ложку. – Тебе не кажется, что в этой истории слишком много людей, которые не хотят, чтобы про них знали?

– Нет, – сказала Варвара. – Мне кажется, что в ней слишком много людей, которые знают больше, чем говорят.

Юлия посмотрела на неё внимательно, потом, не ответив, снова взяла ложку.

Слева от Варвары Даша ела, не поднимая головы, с тем сосредоточенным видом, с каким человек делает что-то одно, пока остальной мир его не трогает. Эмилия Карловна, сидевшая по другую руку, положила рядом с тарелкой салфетку и вилку и произнесла, не поворачиваясь:

– Дашенька, вы заметили?

– Что?

– Что за этим столом люди делятся на две категории. Те, кто ел суп до объявления, и те, кто начал после. Вторые ели, не чувствуя вкуса.

– Я чувствовала, – сказала Даша. – Лапша очень хорошая.

– Умница. – Эмилия Карловна довольно кивнула. – Маргарита Эдуардовна, по-моему, осталась без ужина.

Варвара посмотрела на дальний конец стола. Маргарита Эдуардовна сидела, не притрагиваясь к еде, с ложкой в руке, и когда Анатолий что-то тихо произнёс ей на ухо, она кивнула, не глядя на него, и отпила воды. Тарелка стояла перед ней нетронутая. На блюдце рядом блестела серебряная коробочка. Она открыла её, положила таблетку под язык и снова замерла, глядя в пустоту, и Анатолий, не меняясь в лице, налил ей воды в тот же бокал.

Тем временем за другим концом стола развернулась тихая, но ощутимая война. Пряхин, перед которым стояла нетронутая тарелка и непочатый стакан, смотрел через стол на Лаврентьева с такой злостью, что сидящий рядом Гоша Пименов осторожно отодвинул свой стул.

– Вы довольны? – сказал Пряхин.

– Чем? – спросил Лаврентьев спокойно.

– Тем, что нашлась. Вы же всё это время ходили, как мученик. «Я играл на копии». «Меня обманули». А теперь вам привезут настоящую, вы возьмёте её в руки и забудете, кто вам её вернул.

– Вадим Ильич. Я никому не жаловался.

– Вы не жаловались, вы страдали. Это ещё хуже.

– Вадим, – тихо сказал Гоша. – Ну хватит.

– Не хватит. – Пряхин отодвинул тарелку. – Я год на подписке. Меня судят за то, что я сделал для оркестра столько, сколько ни один из вас не сделал, и меня никто не спросил, нужна ли мне ваша благодарность. Вы все сидите, едите суп и говорите про память. А кто мне скажет, что будет в ноябре?

– Следствие скажет, – произнёс Лаврентьев. – И суд. Это не наша забота.

– Конечно. Не ваша.

Он встал, шумно задвинул стул, и все головы повернулись к нему. На лице у него были красные пятна, глаза блестели, и он стоял, пошатываясь, хотя не пил: Варвара видела, что его стакан оставался полон. На секунду показалось, что он скажет что-то непоправимое. Потом лицо его дрогнуло, обмякло, он провёл рукой по лбу и произнёс совсем другим, тихим, почти жалким голосом:

– Извините. Я устал. Пойду в каюту.

– Вадим Ильич, суп... – сказала Зинаида Петровна, возникая рядом.

– Не надо.

Он вышел, и дверь за ним закрылась осторожно, как закрывают дверь в спальню больного. За столом повисла неловкая пауза, которую нарушил Гоша.

– Он, в общем, нормальный, – сообщил он всем сразу. – Просто нервничает. Я вот три месяца не пью, и то нервничаю, а у него суд.

– Гоша, – сказала Юлия.

– Что?

– Ешь суп.

– Ем.

– Он боится, – тихо сказала Эмилия Карловна, наклонившись к Варваре так, чтобы слышала только она. – Не суда. Суда боятся иначе: тупо, по-бытовому, как зубного врача. А этот боится имени.

– Ратнера?

– Да. Когда Маргарита Эдуардовна произнесла его, у Вадима Ильича побелели не щёки, а уши. Это у людей бывает, когда имя чужое, а страх свой.

– Откуда ты знаешь?

– Я сорок лет преподавала. Дети, получив плохую оценку, краснеют лицом. А те, кто что-то скрывает, бледнеют ушами. – Эмилия Карловна выпрямилась и взяла вилку. – Ешьте рыбу, милая. На голодный желудок такие вещи плохо обдумываются.

Зинаида Петровна, выждав секунду, принесла горячее: запечённую рыбу, судака, под сметанным соусом, с картошкой в мундире и зелёным салатом, и от запаха, пошедшего по залу, у всех сами собой расправились плечи. Начали передавать блюда, наливать морс, просить соль, и разговор, какое-то время ходивший по краю, вернулся в русло. Заговорили про погоду, про то, как у Гоши прошла операция на зубе, про Вену, про пробки, про цены на билеты. Тамара, чья счастливая рассеянность не позволяла ей замечать напряжение, рассказывала через весь стол, как она выбирала платье, и что цвет «слоновая кость» на самом деле не бывает, а бывают только «пудра» и «шампань».

Валентин сидел рядом, ел медленно, аккуратно, и каждый раз, когда Тамара обращалась к нему с вопросом, поворачивал голову, как поворачивают, чтобы получше слышать. Варвара смотрела на него исподтишка. Он действительно слушал. Но слушал не Тамару. Слушал зал: голоса, обрывки фраз, паузы, как слушает человек, которого интересует, кто с кем и как долго говорит.

– А вы, Валентин Олегович, чем занимаетесь в банке? – спросил вдруг Гоша, который, видимо, вспомнил, что полагается поддерживать беседу.

– Кредитованием. Небольшие проекты, – ответил Валентин.

– Это интересно?

– Бывает.

– А вот я никак не пойму, как это кредиты работают, – сказал Гоша, оживляясь. – Вот вы даёте человеку деньги, а он их тратит. Откуда потом у вас прибыль?

– Из процентов.

– А если он не вернёт?

– Тогда убыток.

– Печально. – Гоша вздохнул. – А я всю жизнь на клаве, как говорят, и ничего не понимаю в деньгах.

– Музыкантам это не нужно, – мягко сказал Валентин.

– Вот и хорошо, – сказал Гоша. – Значит, можно тратить, не думая.

Тамара засмеялась. Валентин улыбнулся одними губами. Варвара отметила, что на вопрос «чем занимаетесь» он ответил двумя словами, без единой подробности, без привычного тщеславия человека, любящего рассказывать о своей работе, и что на вопрос про убыток ответил как школьник, который учил определение накануне экзамена.

Эмилия Карловна, не поворачивая головы, слегка шевельнула бровью. Больше ничего. Но Варвара прочитала в этом движении то, что можно было бы выразить словами: «Видишь?» И так же, одним взглядом, ответила: «Вижу».

Когда посуду начали убирать, Валентин встал и произнёс, обращаясь ко всем, негромко:

– С вашего разрешения, два слова.

Разговоры стихли. Тамара посмотрела на него с обожанием, и от этого взгляда у Варвары снова что-то сжалось внутри.

– Я не оратор, и не буду говорить долго, – сказал он. – Мы с Тамарой знакомы полгода, и я ещё не успел узнать вас всех так, как хотелось бы. Но я хочу сказать вот что. Я вижу здесь людей, которые много лет были вместе, которые умеют молчать и умеют слушать, и это редкое качество. Я благодарен вам за то, что вы приняли меня. И обещаю, что сделаю Тамару счастливой. – Он слегка поклонился. – Больше ничего. За вас.

Выпили. Тамара вытерла слезу, Гоша выкрикнул «горько!», и никто его не поддержал, потому что до свадьбы было ещё четыре дня. Валентин сел, и в этот момент Варвара заметила то, что видела уже один раз днём, на палубе: его рука, лежащая на скатерти, чуть дрогнула и сразу же сжалась в кулак, как сжимается рука человека, который сам себя поймал на лишнем жесте.

Он сказал «обещаю». Но интонация была такая, как будто он читал эту фразу с листа.

* * *

Пирог выкатили в десятом часу. Зинаида Петровна и Костя вдвоём вынесли его из камбуза на сервировочной тележке с резиновыми колёсами, с такой осторожностью, с какой выносят хрупкий памятник, и за ними, ступая шаг в шаг, как свита, шёл Боцман, которого, видимо, никто не приглашал, но который счёл своим долгом присутствовать. Свет в зале приглушили. Гости поднялись из-за стола, образовав вокруг тележки полукруг, и ахнули, когда с пирога сняли простыню.

Он и правда оказался огромным. Восемь этажей бисквита, обложенных белым кремом, поднимались до самого потолка так, что верхняя пара фигурок, жених и невеста, стояла почти вровень с лампой. На каждом ярусе цвела своя сахарная гирлянда: на нижнем лиловые астры,

выше розовые розы, дальше голубые незабудки, и всё это блестело в мягком свете, как кружево, слегка присыпанное инеем. На нижней кромке красовалась надпись из розового крема, ровная, с завитками, и когда Тамара подошла ближе и прочитала, лицо у неё дрогнуло.

– «Тамара и В», – сказала она. – Зина. Что за «В»?

– Вот это самое, – сказала Зинаида Петровна, скрестив руки на груди. – Я уточняла, мне сказали Валентин. Но я не уверена, что окончательно, поэтому оставила место. Если что, срежем ножом.

– Зина!

– Что? Это называется страховка. – Зинаида Петровна повернулась к Валентину, который стоял рядом с невестой, вежливо склонив голову. – Вы не в обиде?

– Совсем нет. Я растроган.

– Вот. А то обычно жених начинает говорить, что ему не по себе от внимания. – Зинаида Петровна вытерла руки о платье и кивнула. – Ладно. Дописывать буду завтра, на свежую голову.

Тамара засмеялась, и смех у неё вышел сквозь слёзы, звонкий и неровный. Она подошла и обняла Зинаиду Петровну, и та, крякнув, прижала её к себе, глядя поверх макушки на пирог с выражением хозяйки, у которой всё получилось.

Потом начали резать. Нож, большой, с белой ручкой, торжественно подали Тамаре и Валентину, и они взялись за него вдвоём, сверху, как берутся за что-то общее. Лезвие вошло в бисквит с мягким, влажным звуком, и по залу тут же поплыл запах ванили, вишни и тёплого масла. Гости зааплодировали. Кто-то крикнул «ура», Гоша вскочил на стул и торжественно, фальшиво запел «Многая лета», и его тут же стянули вниз, не дав допеть. Боцман, сидевший у ножки тележки, прищурился на всё это с видом, который можно было бы перевести как «человеческие обряды».

Варвара стояла чуть в стороне, с тарелкой, на которой лежал тонкий кусок пирога, и смотрела на Тамару. Та смеялась, брала кусочки с ножа, угощала Валентина, и он, склонившись, послушно ел из её рук, не пачкаясь кремом, и благодарил. Они выглядели хорошей парой. Это было самое странное: со стороны они выглядели именно так, как должны выглядеть счастливые люди.

– Вы не едите, – сказал кто-то рядом.

Она повернулась. Рядом стояла Даша, с таким же куском на тарелке.

– Ем.

– Нет. Вы смотрите. – Даша отломила вилкой кусочек бисквита и отправила в рот. – Я тоже. Я за ним смотрю. Он ни разу не облизнулся. Люди, когда едят крем, всегда облизываются, это рефлекс. А он берёт и ест, как будто это каша.

– Даша.

– Что? Я просто наблюдаю. – Она пожала плечами. – У нас в музее все наблюдают. Если за день не заметил хотя бы одной детали, значит, день потерян.

– Ты думаешь, это деталь?

– Не знаю. – Даша помолчала. – Может, у него просто нет вкуса к сладкому. Но у человека, который не любит сладкое, на свадебном пироге лицо другое. Он бы морщился. А у него лицо, как у человека, которому не больно, а просто неважно.

Варвара посмотрела на неё внимательно. За лето Даша изменилась: исчезла детская резкость, которая раньше прорывалась в каждой фразе, и появилась другая, более взрослая точность, как у человека, привыкшего смотреть на мелкие вещи и не пропускать главного.

– Пойдём, – сказала Варвара. – Попросим Юлию сыграть.

– Зачем?

– Затем, что пирог съеден, а вечер ещё не закончился.

Юлия, к которой подошли, сначала отказывалась, говорила, что руки с дороги не те, что в Вене она давно не играла для людей, а только для комиссий. Но когда Лаврентьев достал из футляра скрипку, а Гоша радостно заявил, что у него есть «кое-что» на примете, она вздохнула, сняла кольца, положила их на крышку рояля и села. Гоша, как выяснилось, имел в виду «Свадебный марш» Мендельсона, который в этой компании давно превратился в частное шуточное достояние.

– В миноре, – сказал он. – Мы всегда так играли. На репетициях. Чтобы жених не расслаблялся.

– Это жестоко, – сказала Тамара.

– Это традиция.

– Тогда играйте, – махнула она рукой. – Только в до-миноре. Ре-минор у вас слишком похоронный.

Лаврентьев, не говоря ни слова, поднял скрипку. Варвара вынула из футляра альт, и пальцы привычно нашли струны, и она поймала себя на том, что улыбается. Юлия опустила ладони на клавиши. Над залом на секунду повисла та тишина, какая бывает перед первым тактом, когда все знают, что сейчас прозвучит, и ждут.

Они заиграли.

Мендельсон, перевёрнутый в минор, звучал так, будто кто-то включил в старом, знакомом доме свет, но лампочку вкрутил тусклую, и вся торжественность вдруг оказалась изнанкой, с узелками и нитками наружу. Трубные фанфары превращались в тревожные призывы, мелодия, обычно звонкая, шла по ступеням вниз, и в этом было что-то одновременно смешное и грустное, как в старом друге, который шутит над тобой, потому что любит. Лаврентьев

вёл тему, сдержанно, почти без вибрато, Варвара подхватывала в середине, добавляя тёплый густой звук, которого скрипке не хватало, а Юлия внизу выстраивала аккорды, строгие, чёткие, сухие. И рояль отвечал, старый «Беккер», с тёмным, чуть глухим басом, с тем самым едва уловимым, как будто закутанным звуком в нижних октавах.

Варвара слушала его. Слушала и играла, и где-то посередине второго проведения темы, когда Юлия взяла особенно низкую октаву, она ощутила то, о чём говорила Даша: бас был какой-то с поправкой: звук шёл сначала в дерево, потом уходил куда-то вглубь, в невидимое пространство, и возвращался на долю секунды позже, мягче, чем следовало. Там действительно была полость. Тайная, давняя, послушная. Она подняла глаза и увидела, что Даша стоит у рояля, слегка склонив голову, и смотрит на днище инструмента с тем же напряжённым вниманием, с каким смотрела утром.

Они доиграли. Последний аккорд, мрачный, протяжный, растаял в воздухе, и в зале на секунду стало очень тихо. Потом Тамара громко, на весь зал, захохотала, захлопала, и все подхватили, и Гоша закричал «браво», и даже Эмилия Карловна, сидевшая в углу с Бемолем на коленях, аккуратно, два раза, ударила ладонью о ладонь.

– Вы чудовища, – сказала Тамара, вытирая глаза. – Я так расчувствовалась, что хочу сразу замуж. Валентин, ты видишь, какие у меня друзья?

– Вижу, – сказал он.

Он стоял у стены, у иллюминатора, с бокалом в руке, и не хлопал. Просто смотрел на рояль, на Юлию, на Лаврентьева и последним, на долю секунды, на Дашу, которая всё ещё стояла у инструмента. В его взгляде, спокойном и ровном, мелькнуло что-то, чего Варвара не успела разобрать. Потом он поднёс бокал к губам, и когда опустил, на лице опять была та самая вежливая, привычная улыбка.

* * *

Тамара поймала её в коридоре, когда гости уже расходились. Она вылетела из-за угла, босиком, держа туфли в одной руке, а другой ухватив Варвару за запястье, и потащила к своей каюте, шепча на ходу, что обещала поговорить и что теперь самое время, пока Валентин курит на палубе. Варвара хотела заметить, что Валентин, по её наблюдениям, не курит, но промолчала.

В каюте номер четыре за вечер ничего не изменилось: те же платья на койке, та же шкатулка на столике, шляпа на подоконнике. Тамара сбросила туфли в угол, плюхнулась на кровать, прямо на розовое платье, которое уже не жалела, и похлопала рядом с собой.

– Садись. У меня два вопроса, и оба важные.

– Слушаю.

– Первый. Будешь ли ты моей свидетельницей?

Варвара села. Матрас просел, и под ней что-то мягко хрустнуло: наверное, тюль.

– Тамара.

– Не говори «Тамара» таким голосом. Я знаю, что ты скажешь. Скажешь, что это неожиданно, что надо подумать и что у тебя нет красивого платья. Так вот. Платье есть, красное, я знаю. Подумать можешь до послезавтра. А неожиданного ничего нет, потому что я тебя давно выбрала. Ещё в прошлом году, в Плёсе, когда ты сидела на ступеньках и обнимала этот свой альт, как единственного друга. Я подумала: вот человек, которого я хочу видеть рядом, когда мне будет страшно.

– Тебе страшно?

– Мне всегда страшно. Но этим разом особенно. – Тамара подтянула колени к груди, обхватила их руками и положила подбородок сверху, став на секунду похожей на девочку из пятого класса. – Так ты согласна?

– Согласна.

– Вот! – Она выпрямилась. – Теперь второй вопрос. Он сложнее.

Она замолчала. Принялась теребить край простыни, скатывая его в трубочку и раскатывая обратно, и Варвара, зная её, не торопила. Тамара умела говорить без остановки о чём угодно, но когда дело касалось по-настоящему важного, замолкала надолго, как замолкает человек у обрыва.

– Скажи мне честно, – произнесла она наконец. – Он тебе не нравится?

– Кто?

– Не прикидывайся. Валентин.

– Я его почти не знаю.

– Это не ответ. – Тамара подняла на неё глаза, и в них, больших, тёмных, блестящих, был только прямой, почти детский вопрос. – Я же вижу, как ты на него смотришь. Как на задачу. Эмилия Карловна тоже. Она с ним весь вечер говорила, как со студентом на экзамене. Я сначала думала, что мне кажется. А потом поняла, что нет.

– Мы просто присматриваемся. Ты же понимаешь: ты нам дорога.

– Понимаю. – Тамара вздохнула. – А вы знаете, что странно? Он ни разу не спросил про деньги.

– Про какие?

– Про мои. Про квартиру, про то, что у меня есть. Мужья обычно спрашивают в первый же месяц, не прямо, а так, вскользь, мол, а где ты живёшь, а на что. Один даже в загс принёс калькулятор. – Она слабо улыбнулась. – А Валентин ничего. Зато он очень интересуется оркестром. Кто с кем дружил, кто с кем поссорился, кто чем болел, кто кому должен. Я ему

рассказываю, а он слушает, и мне нравится, что кто-то интересуется, потому что мужчинам обычно неинтересно про мою работу. Но иногда я думаю...

Она не закончила.

– Что?

– Иногда я думаю, что он спрашивает так, как будто готовится к зачёту. – Тамара быстро, смущённо потёрла нос. – Это глупо, да?

Варвара посмотрела на неё. Тамара сидела на койке, взъерошенная, красивая, с растёкшейся тушью под левым глазом и дрожащими губами, и в этой минуте было столько беззащитности, что говорить правду стало почти невозможно. Но и врать нельзя. Она выбрала то, что лежало посередине.

– Это не глупо, – сказала она. – Это значит, что ты умная. И что у тебя хороший слух.

– Слух у меня плохой.

– У тебя прекрасный слух. Ты слушаешь не только ухом.

– Значит, надо слушать дальше?

– Значит, надо слушать дальше. И ничего не решать раньше времени.

Тамара кивнула, медленно, с серьёзностью человека, получившего ответственный совет.

– А если он хороший?

– Тогда всё будет хорошо.

– А если нет?

– Тогда мы будем рядом.

– Обещаешь?

– Обещаю.

– Тогда ладно. – Тамара вытерла щёку ладонью, размазав тушь ещё сильнее. – Я не буду делать выводов. Я просто буду слушать. А ты скажешь, если что-то услышишь. Договорились?

– Договорились.

Тамара обняла её порывисто, с размаху, уткнувшись носом в плечо, и от неё запахло духами, пудрой и слабо ванильным кремом. Они сидели так минуту, не говоря ни слова, и в тишине каюты слышно было, как за стеной, в соседнем помещении, тихо пробили часы. Потом Тамара отстранилась, шмыгнула и сказала уже обычным, весёлым, чуть хрипловатым голосом:

– Всё. Хватит. Иди спать. Мне надо накраситься заново, потому что Валентин сейчас вернётся, а я выгляжу, как после аварии.

– Ты выглядишь прекрасно.

– Это ты врёшь. Но мне приятно.

Варвара вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Она постояла секунду, прислонившись спиной к дереву, чувствуя, как внутри медленно расползается что-то тяжёлое и вязкое, как расползается чернильное пятно по бумаге. Она только что пообещала подруге то, что, возможно, не сможет выполнить: быть рядом, когда придёт время. Потому что время придёт, она уже слышала его шаги. Они шли по палубе, ровные, лёгкие, с едва заметной скованностью заученной, чужой походки.

* * *

К одиннадцати вечера теплоход затих. Гости разошлись по каютам, на камбузе перестали греметь посудой, и «Герда» шла по тёмной воде, мерно подрагивая, с одиноким огоньком на мачте и приглушённым светом в иллюминаторах. Варвара вышла на корму подышать. Ей казалось, что в голове у неё ещё гудит Мендельсон, перевёрнутый в минор, и что если сейчас не постоять в тишине, он так и останется там до утра.

На палубе было холодно. Ветер дул с воды, влажный и острый, с запахом тины, и звёзды, высокие и мелкие, стояли над рекой россыпью, какой в городе не увидишь. Берегов не было видно: только где-то далеко, у самого горизонта, мерцала цепочка огней, то ли деревня, то ли дорога. Она запахнула свитер, прислонилась к перилам, и тут заметила, что в дальнем углу палубы, у стены надстройки, кто-то сидит.

Это была Маргарита Эдуардовна. Она устроилась в плетёном кресле, укутанная в шаль, с пледом на коленях, и сидела совершенно неподвижно, глядя в темноту, как смотрят в окно ночного поезда. В нескольких шагах от неё, у двери, стоял Анатолий. Когда Варвара приблизилась, Маргарита Эдуардовна, не поворачивая головы, слегка шевельнула пальцами. Он поклонился и ушёл, неслышно, как уходят хорошие слуги, и дверь за ним закрылась без звука.

– Присаживайтесь, Варенька, – сказала она. – Там табурет.

Варвара села. Табурет был жёсткий, холодный, и сквозь юбку чувствовалось, как от него тянет сыростью.

– Вы не замёрзли? – спросила Маргарита Эдуардовна.

– Нет.

– А я мёрзну. В последнее время всегда. – Она поправила шаль. – Раньше думала, что это возраст, а теперь вижу, что это просто нервы.

Они помолчали. Вода тихо плескала о борт, и этот плеск был единственным звуком, на фоне которого ровно, надёжно гудел где-то глубоко дизель.

– Вы слышали, как я говорила, – произнесла Маргарита Эдуардовна. – Скажите честно, как это звучало?

– Вы хотите, чтобы я ответила как музыкант?

– Я хочу, чтобы вы ответили как человек, который слышит.

Варвара помедлила. Она не любила такие вопросы, потому что на них нельзя было ответить, не задев чего-то, и в то же время нельзя было солгать, не сфальшивив.

– Вы говорили хорошо, – сказала она. – Просто и без украшений. Только голос у вас ниже, чем обычно, на полтона. Вы держите его, чтобы не сорваться.

Маргарита Эдуардовна повернула к ней лицо. В полумраке оно казалось худым и очень старым, с глубокими тенями под скулами, но глаза, большие, тёмные, блестели ясно, без усталости.

– Вы слышите лучше, чем я думала, – сказала она. – Аркадий всегда говорил, что у вас слух, как у кошки. А я не верила. Мне казалось, что он преувеличивает, потому что любил вас. Любил по-своему, дурно, но любил.

– Я знаю.

– Знаете? – Она слегка улыбнулась. – Это хорошо. Значит, вы не будете меня жалеть.

– Я не собираюсь вас жалеть.

– Вот и прекрасно.

Она достала из-под пледа серебряную коробочку, повертела, не открывая, и положила обратно на колени. Руки её, тонкие, в голубых венах, двигались медленно, осторожно, как будто каждое движение приходилось заранее продумывать.

– Я хочу попросить вас об одном, – сказала она. – Не о чём-то трудном. Это связано с Ратнером.

– Слушаю.

– Он поднимается в Угличе в час дня. Я хотела бы, чтобы вы с Николаем Андреевичем присутствовали при встрече. Не вмешивались, просто присутствовали. – Она смотрела прямо перед собой. – Мне нужен свидетель. Человек, которому я доверяю и который ничего от меня не ждёт.

– Почему именно мы?

– Потому что вы единственные, кто не работал на моего мужа и не работает на меня. Остальные так или иначе от меня зависели. Лаврентьев играл на скрипке, которую я купила. Юлия жила на мою стипендию. Тамара была в оркестре, пока он существовал. Даже Зинаида Петровна, хоть и независима, но обязана мне «Гердой». – Она слегка повернула голову. – А

вы пришли сами. С альтом, с чужим чемоданом и с таким видом, будто вас никто не звал и вы всё равно останетесь.

– Так и было, – сказала Варвара.

– Так и было, – согласилась Маргарита Эдуардовна, и в голосе у неё прозвучал сухой, тихий смешок, которого Варвара не слышала от неё никогда. – Это дорогого стоит.

– Я не знала, что вы заметили.

– Я замечаю всё. Просто не всегда говорю. – Она помолчала. – Это меня и погубило.

Последняя фраза прозвучала так тихо, что Варвара не сразу поняла, что услышала её. Хотела переспросить, но Маргарита Эдуардовна уже отвернулась к воде и заговорила в другом тоне, ровном, деловом, будто ничего не произошло.

– Концерт шестого. Я хочу, чтобы вы сыграли соло. Не в оркестре, а одна. Что-нибудь, что вы считаете нужным. Он любил, когда вы играли, хотя вслух говорил, что это шумно.

– Я не знаю, что.

– Вы подумаете. У вас есть три дня.

– Хорошо.

– И ещё. – Она на секунду закрыла глаза. – Если вам покажется, что я делаю что-то странное, не торопитесь с выводами. У меня на то есть причины. Вам они покажутся плохими, но это единственные, которые у меня остались.

– Маргарита Эдуардовна...

– Я не прошу вас ничего обещать. Просто запомните, что я это сказала. – Она открыла глаза. – А теперь идите спать. Вы замёрзнете, а мне вас не хватит завтра.

Варвара встала. Ноги затекли, и колени дрогнули, когда она выпрямилась. Она хотела что-то сказать, но подходящих слов не нашла, и просто кивнула. Маргарита Эдуардовна уже смотрела в темноту, на цепочку далёких огней, и лицо у неё стало таким отрешённым, как будто она давно ушла и только оболочка осталась сидеть в плетёном кресле.

Варвара пошла вдоль борта в сторону носа, к лестнице, и уже у самой двери услышала голос. Негромкий, ровный, из тех, что говорят, прикрывая рот ладонью.

Он шёл с самого края кормы, из узкого закутка за спасательной шлюпкой, куда ночью редко кто заходил. Она остановилась, не думая, повинуясь той странной, давно знакомой привычке слушать то, что слушать не нужно. Из тени виднелся силуэт человека, высокого, худощавого, в светлом пиджаке. Он стоял к ней спиной, прислонившись к стене. В руке у него что-то поблёскивало: маленький тёмный прямоугольник, прижатый к уху.

– Да, – говорил Валентин, и голос у него был совсем не тот, что за ужином: низкий, быстрый, без единой мягкой нотки. – Объявила. Все слышали. Нет, она сказала ровно то, что было условлено. Ратнер, Углич, час дня. Нет. Никто не знает, кроме... Нет, я проверил. Нет, она не говорила.

Пауза. Из трубки доносился чей-то голос, глухой, неразборчивый, и Валентин слушал, чуть склонив голову.

– Понял, – сказал он. – Тамара ничего не подозревает. Да. Нет. Я справлюсь. Завтра.

Он нажал на кнопку, убрал телефон в карман пиджака и несколько секунд стоял неподвижно, положив ладони на холодную стену, как стоят люди, которым нужно отдышаться. Потом выпрямился, повернулся и увидел её.

Варвара не успела ни спрятаться, ни отвернуться. Они стояли в трёх шагах друг от друга, на узкой палубе, при тусклом свете одной-единственной лампы над дверью, и между ними не было ни слова, пока он, медленно, очень медленно, не улыбнулся.

– Варвара Сергеевна. Не спится?

– Вышла подышать.

– Я тоже. – Он слегка кивнул на карман. – Звонила двоюродная сестра из Ярославля. Пожелала нам счастья. Они все там немного старомодны.

– Тамара говорила, что у вас почти никого нет.

– Из близких. Сёстры дальние, и я их не люблю предъявлять. – Он развёл руками. – Такая вот семья.

– Понимаю.

– Тамара ничего не знает про это, – сказал он очень мягко. – Я бы не хотел её волновать. Вы понимаете? Накануне свадьбы любая мелочь превращается в трагедию.

– Конечно.

Он смотрел на неё внимательно, спокойно, и в этом взгляде не было ни вызова, ни страха, только вежливое, терпеливое ожидание. Потом поклонился, как кланяются в театре, и ушёл по палубе, мимо неё, не торопясь, с ровной, лёгкой походкой человека, у которого всё под контролем.

Она осталась стоять. Ветер трепал полы свитера, холодил шею, и где-то далеко на корме, в плетёном кресле, сидела старая женщина, обернувшись к тёмной воде. А в голове у Варвары, чётко, одна за другой, выстроились три вещи: он сказал «Ратнер, Углич, час дня». Он сказал «условлено». И он сказал «Тамара ничего не подозревает», так, как говорят про человека, о котором ведётся отчёт.

И телефон у него, как она теперь знала, был.

* * *

Рубка в этот час была освещена одной лампой над картой, и свет её, жёлтый, неяркий, падал на штурвал, на ладони Николая Андреевича и на красные цветы герани, которые, закрыв лепестки на ночь, казались тёмными, почти чёрными. За окнами стояла такая густая темнота, что стёкла превратились в зеркала, и в них отражалась вся рубка целиком, перевёрнутая, с двумя фигурами, одной у штурвала и другой у двери.

– Ты не спишь, – сказал он, не оборачиваясь.

– Ты тоже.

– Я на вахте. До четырёх, потом Пал Палыч сменит, у него ночное время идёт лучше. – Он повернул голову. – Что случилось?

Она рассказала. Коротко, как рассказывают то, что видели своими глазами: про корму, про лестницу, про узкий проход между шлюпками, про тёмный телефон, про «Ратнер, Углич, час дня» и «условлено». Про «Тамара ничего не подозревает». Про то, как он улыбнулся, и как придумал сестру из Ярославля. Николай Андреевич слушал, не перебивая, и по тому, как медленно менялась линия его плеч, она понимала, что он слышит то же, что слышала она.

– Ты уверена в словах? – спросил он, когда она закончила.

– Да.

– Слово в слово?

– Почти. «Условлено» я слышала точно.

– Хорошо. – Он помолчал. Штурвал под его руками слегка дрогнул, поправляя курс, и «Герда» мягко, почти незаметно ушла вправо. – Это не доказательство. Человек может обсуждать с родственником что угодно. Ратнер, Углич, час дня: об этом Маргарита Эдуардовна объявила при всех. Он мог рассказывать то, что слышал за ужином.

– Он сказал «она сказала ровно то, что было условлено».

– Это можно прочесть по-разному.

– Можно. – Варвара села на табурет у окна и обхватила колени. – Но когда человек говорит по телефону шёпотом на корме, в темноте, и выдумывает сестру, которой нет, он не обсуждает с родственником ужин.

– Нет. Не обсуждает.

Они молчали. Из динамика рации иногда долетали обрывки чужих переговоров: где-то впереди шёл буксир, и его капитан лениво, с хрипотцой, перекликался с диспетчером. «Герда» шла, не отклоняясь, и на карте под лампой тонкая красная линия фарватера медленно, миллиметр за миллиметром, подползала к отметке, за которой начинались дубненские шлюзы.

– Что будем делать? – спросила она.

– Пока ничего. – Он говорил спокойно, и от этого спокойствия ей становилось легче. – Расскажи Эмилии Карловне, она, я думаю, уже видит. Скажи Даше, пусть тоже наблюдает. Я поговорю с Костей: пусть смотрит, кто ходит по палубам ночью. И я позвоню Свиридову. Не сейчас, утром.

– Что ты ему скажешь?

– Что у нас на борту человек, который скрывает, кто он. Больше пока ничего.

– А Тамара?

Он не ответил. Руки на штурвале чуть сжались, потом расслабились, и он выдохнул.

– Я не знаю, как сказать ей, – признался он. – Я видел её сегодня за ужином. Она счастлива. Если я скажу, что её жених странный, она спросит, почему я так думаю. Я скажу: Варвара слышит. Она спросит: что? Я скажу: фальшь. Она ответит, что в музыке фальшь бывает у всех. И будет права.

– Она не права. Но она не поверит.

– Поэтому мы будем искать доказательства. – Он слегка кивнул. – Не для себя. Для неё.

Она смотрела на него, на тёмный профиль на фоне окна, на упрямый подбородок, на щеку с ямочкой, которую видно было только при боковом свете, и думала, как странно, что за год этот человек из почти незнакомого капитана превратился в того, у кого она ищет ответов раньше, чем у себя самой.

– Иди сюда, – сказал он.

Она подошла. Он взял её за руку, не отпуская штурвала другой, и притянул к себе, и она прижалась лбом к его плечу, к колючему сукну парадного кителя, который он так и не снял. От него пахло табаком, сухим деревом и слабо, почти неуловимо, речной водой. Он ничего не говорил. Просто держал её руку и вёл «Герду» вперёд, в темноту.

Минут через пять она подняла голову.

– Знаешь, о чём я думаю?

– О чём?

– Что если бы год назад мне сказали, что я буду стоять в этой рубке и бояться за подругу, потому что её жених странно говорит по телефону, я бы рассмеялась.

– А я бы не поверил, что ты будешь здесь стоять вообще.

– Почему?

– Потому что ты тогда была похожа на человека, который держит что-то в руках и боится уронить. – Он усмехнулся. – Теперь не держишь.

– Держу. Просто по-другому.

– Это лучше.

В четвёртом часу ночи, когда Пал Палыч, сутулый, молчаливый, без единого слова принял смену и Николай Андреевич, передав ему штурвал, коротко, по-мужски кивнул, они вдвоём спустились по железной лестнице, ступая тихо, чтобы никого не разбудить. На средней палубе горел один дежурный плафон, и свет его падал на красную дорожку жёлтым пятном. У двери каюты номер семь они остановились.

– Спокойной ночи, – сказал он.

– Спокойной.

Она вошла, закрыла дверь, и только когда щёлкнул замок, поняла, что руки у неё всё ещё холодные. Разделась в темноте, на ощупь, повесила платье на крючок рядом с красным, которое мерцало в углу, как забытый сигнальный флаг, и легла. Простыни пахли лавандой. Над головой, в трубах, что-то ровно булькало, под полом гудел дизель, и всё это складывалось в звук, к которому она за этот день уже привыкла: долгий, тёплый, не обещающий ничего плохого.

Она лежала на спине и смотрела в потолок. Через минуту в дверь тихо, одним когтем, поскреблись.

Варвара встала, открыла. В коридоре, под дежурным плафоном, сидел Боцман. Бант с него кто-то наконец снял, и без банта он выглядел намного старше и значительно суровее. Кот посмотрел на неё снизу вверх, потом, не дожидаясь приглашения, прошёл мимо, запрыгнул на койку и устроился в ногах, свернувшись так, будто принадлежал этой каюте с самого начала.

– Ты тоже слышал? – спросила она шёпотом.

Боцман открыл один жёлтый глаз, закрыл и тихо, на глубокой ноте, зарокотал, как отвечают люди, которым не хочется говорить вслух то, что они думают.

Она легла рядом и закрыла глаза. В стене слева, за переборкой, была восьмая каюта, пустая, с чёрной ленточкой на ручке и вазой с астрами у порога, и ей казалось, что даже сквозь дерево слышно, как там стоит тишина. Не страшная. Просто такая, какая бывает в комнате, где кто-то жил и больше не будет.

Потом дизель, ровный, надёжный, довёл её до сна.

Глава 4

Варвара проснулась от того, что кто-то ровно и сосредоточенно дышал ей в лицо. Она открыла глаза и увидела жёлтый немигающий взгляд, расположенный в пятнадцати сантиметрах от её носа. Боцман сидел на подушке. Он, судя по всему, провёл там некоторое время и теперь ждал, когда человек наконец поймёт, что завтрак существует и не сам себя съест.

– Сколько времени? – спросила она у кота.

Он не ответил. Но в иллюминатор било яркое, чистое утреннее солнце, плед сполз на пол, и по стенам каюты бегали светлые пятна от воды, которые менялись каждую секунду, как узор в калейдоскопе. Она взяла с тумбочки часы. Без десяти семь. Спала она, выходило, часа три, и странным образом чувствовала себя хорошо, как бывает после долгого и честного разговора, закончившегося ничем плохим.

Умывшись над крохотной раковиной, в которой вода вздыхала так же, как в тётиной каюте, она надела свитер и брюки, подхватила Боцмана, который тут же обвис на руке тёплой тяжестью, и вышла на палубу. «Герда» шла уже по Волге. Ночью, пока она спала, они миновали последний шлюз канала и вышли на широкую воду, и теперь вокруг не было ни одного берега, который стоял бы близко: только длинные, пологие, подёрнутые синей дымкой, да над ними небо, высокое, чистое, с редкими тонкими облаками, растянутыми по горизонту, как перья.

Туман лежал на воде тонким слоем, не выше колена, и «Герда» резала его носом, оставляя за кормой две расходящиеся белые дорожки. От воды пахло холодом и водорослями, сырым деревом и немного дымом, откуда-то с берега. Над самой палубой пролетела, сверкнув белым брюшком, чайка и села на леер, глядя на Боцмана с таким видом, будто решала, стоит ли связываться.

Эмилия Карловна уже сидела в своём плетёном кресле под тентом, с Бемолем на коленях, в той же серой кофте и с чашкой чая в руке, и когда Варвара подошла, она, не оборачиваясь, слегка кивнула на соседний стул.

– Я так и думала, – сказала она.

– Что?

– Что ты не выспалась. Присядь, расскажи.

Варвара села. Кот перебрался с её рук на колени к Бемолю, и они на секунду замерли друг против друга с выражением взаимного терпения, потом Боцман, вздохнув, улёгся, а пёс, не открывая глаз, придвинулся ближе. Она рассказала про корму, про телефон, про «условлено» и про сестру из Ярославля. Эмилия Карловна слушала не перебивая, и по тому, как медленно она размешивала чай, ни разу не коснувшись ложечкой стенок чашки, было видно, что ей это известно по большей части и без слов.

– Значит, не наблюдательность, а заказ, – сказала она, когда Варвара закончила.

– Что?

– Он не ищет, он выполняет. Человек, который ищет, спрашивает про всё подряд. А этот спрашивал про троих: Маргариту Эдуардовну, Лаврентьева и Пряхина. Это три конкретных человека, у которых есть что-то, что кому-то нужно. – Она отпила чай. – Пряхин, как ты помнишь, продал скрипку. Лаврентьев на ней играл. Маргарита Эдуардовна её покупала. Вот три звена одной цепи. И четвёртое, Ратнер, едет к нам в Углич.

– Ты думаешь, Валентин работает на Ратнера?

– Я думаю, что одно с другим совпало слишком аккуратно. А совпадения такого рода случаются только в музыке, да и то в хорошей. – Эмилия Карловна поставила чашку на блюдце. – Но я не стану ничего утверждать. Я старая женщина, а старым женщинам свойственно во всём видеть заговоры. Я просто ему не верю.

– Это не доказательство.

– Нет. Но это основание, чтобы смотреть. – Она слегка повернула голову, и в её светлых, острых глазах мелькнуло что-то, похожее на удовольствие. – Тебе это, кстати, нравится. Ты вчера на корме выглядела совершенно живой.

– Я испугалась.

– Ты испугалась и обрадовалась. Одно другому не мешает.

Варвара хотела возразить, но не нашла что. Она посмотрела на воду, на длинные косые полосы тумана, и подумала, что тётя, как всегда, права: в животе у неё сидело что-то жёсткое, настороженное, живое, неприятное, но совсем не страшное, и похожее на то чувство, какое бывает за кулисами за минуту до выхода.

К восьми стали подтягиваться остальные. Первым вышел Гоша Пименов, помятый, в спортивных штанах, с неизменной бутылкой минеральной воды в руке. Он сел на ступеньку у борта, закинул голову, закрыл глаза и громко сообщил небу, что у него три месяца и двенадцать дней, и если кто-то хочет знать, как он себя чувствует, то он чувствует себя «как лимон в чае».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.